

Имтенець

СВЯТОСЛАВ ТАРАХОВСКИЙ



ОТВАЖНЫЙ
МУЖ

В МИНУТЫ
СТРАХА

Святослав Тараховский

Отважный муж в минуты страха

«АСТ»

2014

Тараховский С. Э.

Отважный муж в минуты страха / С. Э. Тараховский — «АСТ»,
2014

История о том, как в последние советские годы молодой журналист Агентства Печати Новости становится негласным сотрудником КГБ. О его служебной командировке в Иран, шпионских интригах, ловушке, в которую он угодит, потерях и приобретениях. О его большой любви, которую он, спасибо ГБ, потерял. О том, что, пройдя школу ГБ, он становится в новое время олигархом и мысленно благодарит своих учителей из Большого дома на Дзержинке...

© Тараховский С. Э., 2014

© АСТ, 2014

Содержание

Часть первая	6
1	6
2	10
3	18
4	21
5	23
6	29
7	31
8	35
9	37
10	40
11	43
12	46
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Святослав Тараховский

Отважный муж в минуты страха

© Тараховский С. Э.

© ООО «Издательство АСТ»

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Часть первая

1

Оркестрик удалился и унес музыку. Пауза нервировала.

Взгляд Сташевского порхнул от живописи к фарфору, бронзе, штукovinaм прикладного искусства в стеклянных витринах, перелетел пространство зала и в нетерпеливой дрожи завис над трибуной аукциониста и венчавшем ее законодателе сделок – деревянном молотке на деревянной наковальне.

«Что они тянут, халдеи? – сверлил Сташевского вопрос. – Почему стопорят? Где праздник, негодяи?» В нем, как обычно, запустился счетчик ожидания: за ухом вздулась, застучала синяя жилка. Он снова обернулся к залу. Ого!

Страна бьется как раненый голубь, а народу на торги напоззло, словно муравьев на рафинад. Или это в основном зеваки?

«В основном да, но не все», – заключил Сташевский.

Вон они достойные жирные соперники: Мордовкин, Липский, Бабаян и даже редко вылезающий на свет Арен. Рассеялись по залу от большой любви – подальше друг от друга, каждый со своим шнурком-телохранителем и советчиком-экспертом из музея. «Этим кексам только дай, – подумал Сташевский, – эти звери могут встрять, задрать ставки и поелозить по нервам, но не более того. Шансов у них, родимых, сегодня никаких».

Он догадывался, что война за пейзаж Поленова, игравшийся под номером восемнадцать, предстоит кровавая, но дал себе слово, что в этой войне всех перебьет. Денег у него вагон, любой Поленов для него бесценен и вообще он не любит уступать.

Тем более пейзаж, который он знает с самых нежных своих годов.

Размашистый окский плес, старая пристань с налипшими ракушками, ивы, мокнущие в темной воде, травяная гладь берега, тишина, неподвижность, вечность, мечта – все так, он все помнит как наяву; восемь лет ежегодных школьных каникул, прозвеневших как единый легкий праздник близ усадьбы Поленова под Тарусой, многое определили в жизни и никогда не забывались. Он без боя отдаст конкурентам любую другую картину – нате, жрите, красавцы! – но не может быть и речи о том, чтобы поленовский шедевр попал в лапы Мордовкина, Липского или гнилушки Арена, страдающего от перебора валюты во всех пазухах организма.

В его воображении уже вставали желанные видения: вот, сглатывая слюну вождения, он берет купленную картину в свои, ставшие нежными, руки, вот бережно, словно ребенка, вносит в дом на Рублевке и, торжествуя, демонстрирует Ирине и дочери Марии. «Ирина особенно будет рада, – подумал он, – жена всегда рада, когда пухнет кубышка с добром, как всякая баба, она наперед смотрит, заранее страшется на случай развода или его, муженька, внезапного карачуна – и правильно делает, на здоровье, только пусть она, родимая, знает, что он собирается ее пережить».

Напольные английские часы восемнадцатого века тоненько, звонко-протяжно пробили-пропели полдень с четвертью, и на кафедру влетел, точно вспрыгнул на нашест, известный артист, ведущий аукциона, – пружинистый, худой, ярко одетый, он и впрямь походил на верткого петушка.

– Всем привет и доброго здравия! Уважаемые господа, мы начинаем! – сильным голосом с пивной хрипотцой объявил он, воздев в пространство руку с молотком. – Лот номер один! Русская школа, девятнадцатый век. Холст, масло, подпись отсутствует. Художник, вероятно, был скромен, пил горькую и предпочел остаться неизвестным. Начальная цена – двадцать тысяч рублей.

Длинноногая, с косыми коленями модель прошла по рядам с картиной, изображавшей наглуго голую березу, непонятно с какой целью прильнувшую к нищей избушке; вещь не вызвала покупательного рефлекса у публики и была снята с торгов. «До восемнадцатого лота дышу спокойно», – сказал себе Сташевский.

Лот номер два – ранний робкий натюрморт Александра Герасимова ушел по стартовой цене какому-то небритому сухонькому старикану, сластолюбиво, по такому поводу, ерзавшему в кресле в трех рядах справа от Сташевского. «Сколько страсти у старости, – восхитился Сташевский. – Сколько нерастраченного либидо!»

Лот номер три оказался пошловатым кровавым закатом Ю. Клевера: солнце, с безнадежной красотостью валившееся меж ветвями в лесную чащу, тем не менее оживило зал. Свеклолицый апоплекс Мордовкин выставил торчком вялый указательный палец с зеленым перстнем, и никто не стал ему перечить, ни Липский, ни Бабаян, ни Арен, ни прочая безденежная, но задиристая мелкота. Третий и последний удар молотка утвердил победу Мордовкина. «Акулы вкусили крови», – отметил Сташевский.

Четвертый и пятый лоты невыразительно проследовали друг за другом, выскочив в отстой со скоростью утиной кишки. Народ жаждал события, и оно явилось.

– Лот номер шесть, господа! – объявил аукционист и, выдержав интригующую паузу, растянулся в улыбке. – Вниманию почтенной публики предлагается мегашедевр великого нашего Ивана Христофоровича Айвазовского! Начальная цена – двадцать миллионов рублей! Господа из охраны, попрошу нам помочь...

Тут уж длинноногая модель была бессильна; двое охранников в черной униформе с английскими нашивками «секьюрити» на рукавах, отлепив огромную картину от стены, подтащили ближе к аудитории и, словно почетный караул, заняли места пообочь вещи.

«Будь объективен, – сказал себе Сташевский, – это и вправду шедевр». Ревущее море пенилось, бесилось, натурально выплескивалось холодной плотной массой на зрителя и, как пыль, гнало на скалы беспомощный парусник с насекомыми фигурками обреченных людей. Он прочертил картину взглядом справа налево, потом слева направо и снова убедился в живописной мощи Айвазовского.

– Двадцать миллионов – раз! Я читаю ваши мысли, господа, но, согласитесь, за гениальное произведение искусства, сколько ни попроси, все будет мало. Итак, двадцать миллионов, кто больше? – взмыл, словно кукарекнул, на верхнюю ноту голос ведущего. – Номер седьмой во втором ряду – есть двадцать один миллион, господа! Пошло наше дело, поехало, полетело, понеслось, потому что оно – дело благородное! Кто больше?

В пику Липскому с новой ценой выступил Мордовкин, но его без промедления перебил Бабаян. «Нам, олигархам, убить олигарха – в радость», – заключил Сташевский.

Петушок-ведущий дразнил, провоцировал соперников на продолжение, битва за Айвазовского разгоралась, публика ахала от сладострастного удовольствия. Деньги-кровь поочередно лились из ран Бабаяна, Мордовкина и Липского до тех пор, пока чудище Арен, обнажив оружие, не налетел, точно из засады, на эту святую троицу, не смял, не растоптал их в прах своей смертоносной палицей-ценой. Богатство, столкнувшись с намного превосходящим его Богатством, превратилось в недомерка, завистливого и жалкого.

Самодовольство разливалось по столь же умной, сколь несимпатичной физиономии Арена. Взгляд Сташевского, оттолкнувшись от его безобразия, снова полетел было к Айвазовскому, но достигнуть великого полотна ему уже было не дано. Ибо в полете с ним случилось событие чрезвычайное и почти медицинское: взгляд зацепился за совершенно неожиданное препятствие и влип в него, словно палец в свежий скотч.

Твою мать! Знай Александр за пять, за три, хотя бы за минуту заранее, что с ним такое произойдет, поднялся бы тихо-незаметно с места, затерся, затерялся бы в шуме торгов и публике и на полусогнутых вынес бы себя с поля боя. Но никому не дано знать будущее, отсутствие

такого приспособления в человеке – возможно, самый большой недостаток его устройства. По воле случая или чьей-то лукавой каверзы глаза его споткнулись и застряли на охраннике, на том самом «секьюрити», что располагался справа от картины.

Не потому, что охранник был так уж грозен, а потому, что Сташевскому показалось, что он его узнал. Он еще не был уверен, что не ошибся, но даже этого «показалось» стало достаточно, чтобы, выражаясь деликатно, вспотеть.

Он?!

Не может этого быть.

Он, здесь? Откуда? Спустя столько лет? Даже предположить такое невозможно. «Бред! Галлюцинация!» – хотелось закричать Сташевскому, а все же почему-то не закричал, спохватился, что крик получится не слишком умным.

«Он, – как приговор объявил себе Александр. – Не обманывай себя, ты сразу понял: это он».

Его острый, точно форштевень корабля, нос, разваливающий надвое пространство перед собой, его шея с уступом кадыка, угловатые плечи, длинные руки, рост, походка, его обычный острый прищур сквозь белесую завесу ресниц, его поредевший, посеревший, но не изменившийся пробор, которым, гоняя по волосам узкую пластмассовую расческу, он раньше так гордился.

Жесть. Зачем ты снова, как пяткой на гвоздь, налетел на него, Санек, зачем опознал? Зачем кто-то или что-то снова свел вас в пространстве и времени? Сташевскому стало жарко.

Наверное, он вовсе здесь не случайно. Ему, должно быть, сейчас за шестьдесят, но такие на пенсию не уходят и, скорее всего, не умирают вовсе. Он в строю. Как всегда, мастеровито исполняет свою работу. Наблюдает – не исключено, что за ним, за Сташевским! – следит, стравливает, интригует, информирует, он винт великого замысла, и претензий к нему быть не должно: он таков, каков есть, он делает свое дело, и его надо понять.

Размышляя расширительно, Сташевский не мог не прийти еще к одной простой мысли: что, если и другой «секьюрити», напарник его, выполняет сейчас такое же деликатное задание? Сташевского и дальше неприятно осенило. Что, если и сам ведущий петушок-аукционист представляет здесь тот же самый тайный орден? Что, если им, орденом, всемогущим и героическим, организован весь аукцион вообще, и Поленов, как и Айвазовский, – лишь лакомые приманки для выявления недалеких сташевских – богатеньких Буратино с лишними денежками? Сташевский ахнул, фантазия смыла его с катушек и понесла в бурную даль. «Блин, – подумал Сташевский, – неужели я снова попал, снова влетел и запутался в этой паутине?»

Он поймал себя на том, что, стараясь оставаться незамеченным, слегка пригибается, прикрывается передними рядами присутствующих. «Что со мной? – тотчас одернул он себя. – Какого хрена я должен бояться? Прошло двадцать лет, больше! Мы живем в другой стране, во мне восемьдесят пять килограммов чистого здоровья, я богат, я верчу этой жизнью, как хочу, чего я задергался? Пусть дергается он, кадыкастый секьюрити, ничтожество, аппендикс великой канувшей страны».

«Встань во весь рост, – приказал себе Сташевский, – встань, объяви залу, кто и что он есть такое, пусть он тебя увидит, обрадуется и от большого счастья наложит в черную униформу – последнее было бы предпочтительней; встань, покажись, чтоб он ойкнул и задохнулся, а потом красиво, играя мышцами, как атлет в цирке, удались. И пусть он поймет, что не страх в тебе был, а простое нежелание пачкаться. А лучше не уходи вовсе, мозоль ему глаза абсолютно спокойно, а пожалуй, и вызывающе, бейся за Поленова и приобретай ему назло – кстати, лот уже скоро».

Мысли Сташевского смелели, наглели, и сей процесс продолжался в нем до той минуты, пока охранник в черной импортной униформе не взглянул в зал, и Александру показалось, что взгляды их столкнулись. «Заметил? Узнал?» – спросил себя Сташевский, и вдруг мерзкая

дрожь сбивала с ритма ход его сердца, и он с изумлением сообразил, что вовсе не любопытство было сейчас главной его эмоцией, но страх; тот же самый, прежний, давний, далекий, отвратительный, ослабляющий страх, и дрожание, и трепет, что, казалось, были забыты и вновь мгновенно в нем воскресли. «Что это? – спросил себя Сташевский. – Страх вернулся как недуг? как возвратная корь?»

Значит, все надо начинать заново?

Не аукцион интересовал теперь Сташевского; глаза и слух его были пристегнуты к тому, что делал его давний добрый знакомый. Секьюрити в черном не производил никаких чрезвычайных действий: он подтаскивал и оттаскивал картины, демонстрировал публике тяжелые предметы из бронзы, на улыбке переговаривался с напарником – из одной они песочницы, явно! – он держался обыденно и неприметно. «Профессионал, – подумал Сташевский, – виртуоз, тонкач, навыка не утратил». Воспоминания покатали на него как душные волны, отравили и отстранили от происходящего; глядя на сцену, он, казалось, уснул с открытыми глазами.

Последний лот, серебряный ковш с многоцветной эмалью, остался не востребовавшимся; торги завершились, петушок-ведущий взлетел и исчез с высокой трибуны. Народ, загудев, начал расходиться, шум и общее движение воздуха потревожили Сташевского, он встрепетнулся, казалось, ничего ему не стоило, растворившись в толпе, исчезнуть из зала и навечно забыть о сегодняшнем дне.

«Не уйти, – сообразил он, – не скрыться, их видаки меня уже схватили. Да что ж это я?! – вдруг возненавидел он себя. – Двадцать лет как я сбросил с себя удавку страха, теперь опять затягиваю ее на шее? Что делать?»

Есть только один-единственный способ победить в себе страх. Один и единственный, другого не дано. Вон он, черное средоточие страха и обитель его. До него десять метров, не более. Десять метров и двадцать лет. Смогу?»

Он заставил себя подняться на ноги.

И, преодолев десять метров и двадцать лет, негромко, но жестко и точно, будто дротик, метнул в широкую черную спину, бросил: «Привет, Альберт»...

2

Телефон. Конечно. Он помнит. Кошмары и подвиги начались с него.

Черный, старый, с перекрученным шнуром, захватанный сотнями рук аппарат, что четверть века назад стоял на его рабочем столе в агентстве печати «Новости», и однажды весенним утром вздрогнул и заголосил как живой.

Лист бумаги, выползавший из его пишущей машинки, замер – он сочинял статью, он печатал, он не любил, когда его прерывали, он снял трубку с неудовольствием.

– Да.

– Сташевский? – спросила трубка. – Александр Григорьевич? Здравствуйте. С вами говорят из Комитета государственной безопасности...

Остаток того неприкаянного дня он посвятил поиску ответа на один простой вопрос: почему он? Сорок лет назад в жестокую войну НКВД наехало на его деда, теперь, в разгар перестроечной свободы, прихватывает его – почему? Чекисты действуют независимо от времени и веяний эпохи – это он уяснил сразу, но почему именно его род каждый раз попадает под их каток, и почему сейчас в их заброшенном неводе оказался именно он, Саша Сташевский? Проклятие запрятано в его генах, во внешности, в характере?

Непонятно. Невозможно понять...

Он был обычным парнем, рожденным в глухое советское время, почитаемое одними как славное, проклинаемое другими как застой.

Славянская генетическая закваска от бабушек и дедушек, плюс немного еврейского перчика, украинской горилки и татарского соуса тар-тар со стороны других бабушек и других дедушек – таков был его добротный, но, в общем, типичный советский замес.

До трех лет его никто не учил читать, считали, рановато; чтобы не приставал с вопросами, ему давали на растерзание детские книжки, карандаши и фломастеры – пусть ребенок срисовывает картинки и буквы. Однажды, в три года и шесть месяцев, когда мама кормила вернувшегося со смены киношника-отца, он притопал на кухню и начал читать Маршака – абсолютно свободно, без запинки. Отец, поперхнувшись, долго и тяжело выкашливал картофельное пюре.

Отец, директор картины на «Мосфильме», и мать, артистка Театра оперетты, были советскими интеллигентами в первом поколении, о своем деревенском первородстве старались не вспоминать, но оно коварно прорывалось в их поступках.

Их единственный и ненаглядный Саша родился в тот год, когда небогатая советская страна совершила подвиг, которого от нее не ждали: она забросила в космос Гагарина. Запад вздрогнул и осознал, что ни черта не смыслит в огромной восточной империи и в ее нелинейных людях.

Так и пошло: обычный мальчик парадоксального времени самой парадоксальной страны, жизнь обтачивала его по отечественному лекалу.

В полтора он начал проситься на горшок, но всегда по-русски опаздывал, а когда мама его ругала, очень по-русски над собой смеялся.

В три родители взяли его с собой в Нару на похороны прадедушки Андрея, выходца из украинского города Чернигова. Картины гроба, чадящих свечей, попа с приторным кадилом, мельтешащей родни, а главное, белобородого деда в гробу поразили его; с тех пор на протяжении всей жизни он частенько и навязчиво представлял себя лежащим на месте дедушки Андрея, и, что любопытно, такая фантазия не очень его пугала.

В четыре он уже неплохо играл в шахматы и обыгрывал отца, несмотря на папин третий разряд. Он наверняка мог бы стать большим шахматистом, но увлечение резными фигурками и доской прошло, когда он увлекся солдатиками и собиранием марок. Спустя три года пухлый

классер с марками отняли во дворе взрослые ребята, он кричал и сопротивлялся, его отпихнули и сбили с ног – тогда он впервые прочувствовал, что такое сила и что такое беспомощность перед силой.

В пять самым страшным для него испытанием было одиночество в пустой квартире. Страх рано вошел в его жизнь. Скрип полов, неясные стуки за стеной, гугуканье воды в трубах бросали его в дрожь, за каждой тенью на полу или обоях чудились чудовище и злодеяние. В жуткие минуты он забирался на стул, стоявший подле входной двери, и прислушивался к жизни, что происходила на лестнице: шарканью ног, стуку лифта, голосам, – страх немного отпускал, когда узнавались голоса соседей, например, громогласной Тамары Папян, про которую он уже знал, что она называется армянка и поет в хоре. Часами сидя под дверью, он бубнил про себя или полупшепотом считалку-заклинание, заговор на родителей, чтоб они поскорее возвращались домой. «Приходите, приходите, приходите и больше никогда не уходите. Я вас буду очень любить, а сейчас я вас не любить». Когда в замке начинал скворчать вставляемый ключ, он, ликуя, бросался к двери будто бы из комнат, и про его мучительное сидение никто никогда не догадывался; зато он, юный мечтатель, был уверен, что на приход родителей волшебным образом действует заговор и, значит, страх можно победить, потому что существуют такие слова, которые способны менять жизнь к лучшему.

Да, он рос любознательным. В восемь начал подглядывать за гостившей у них все лето двоюродной сестрой Анькой, приехавшей из Киева поступать в московский театральный вуз. В девять от старших ребят во дворе узнал заманчивое, похожее на лягз стальных ножниц, слово «секс», а также откуда он взялся и что происходит между мужчиной и женщиной, когда они этого хотят. Просыпаясь ночами, он прислушивался к тому, что делают папа и мама; порой ему казалось, он слышал то, о чем рассказывали дружки, и тогда смелые фантазии обгоняли его возраст.

Мальчик имел натуру открытую и жадную до впечатлений жизни. Со двора большого дома он частенько возвращался домой в разорванной одежде, синяках, крови и с крепко поставленным матом. Родители наказывали сорванца, но не шибко строго, учился Сашка блестяще и до поры доставлял им больше радости, чем огорчений. В школу он пошел шести лет, в десять его перевели сразу в пятый класс, поскольку в четвертом ему было скучно; от скуки он затевал, как жаловались учителя, «посторонние разговоры, чем отвлекал остальной класс от усвоения материала». Он с легкостью решал задачки и справлялся с контрольными, но в классе хохмил, распоясывался все больше, и родители были вынуждены принять меры. Отец наказывал его чувствительней, чем мать, в сердцах дорогой родитель частенько крестил сына «кретином», но в детстве сын любил отца много больше взрывной опереточной матери. Оплеухи Саше иногда перепадали, но откровенно пороть сына не решались – слишком несовременно, в угол не ставили – слишком старомодно, компьютера не лишали – не было тогда компьютеров у счастливых детей, ему придумали другое мудреное наказание. В геометрический центр комнаты ставилось большое старинное кресло, и к его деревянным ручкам родители перед уходом из квартиры привязывали десятилетнего Сашу. (Вот она, вот во всей красе родительская первородная деревенская жестокость, помноженная на искаженно воспринятые идеи современного воспитания!) Способный мальчик быстро научился высвобождать руки и всего себя от веревок; пока родителей не было, он делал в доме что хотел, но, едва услышав хлопнувшую дверь, снова запрыгивал в пыточное кресло, примыкался к нему веревками и надевал на себя скорбное лицо. Обе стороны были довольны: родители, исполнявшие функцию наказания и закрывавшие глаза на Сашину хитрость, и Саша, рано сообразивший, что вранье хоть и противно, но приносит пользу.

Он много читал. Два шкафа хороших книг сумел собрать в квартире отец, и, понятно, что Саша в первую очередь читал то, что до поры ему читать не позволялось. Продуманной системы чтения у него не было, да она ему была и не нужна. Открывая обложку очередного

собрания сочинений, он взял себе за правило прочитывать его целиком, до переписки и комментариев. Так были поглощены шедевры Майн Рида и Джека Лондона, а далее сразу Толстой, Бальзак, Мопассан, Горький, Чехов и все, что попадалось под руку. Книжная мудрость, как каждому интеллигенту, во многом заменяла ему разнообразный опыт жизни; во всяком случае, он хорошо уяснил, что такое честь, совесть, достоинство, мужество, бескорыстие, а также стыд за то, что эти качества в тебе отсутствуют.

В четырнадцать за лето Саша сильно добавил в росте, начал играть в баскетбол и через два года стал капитаном школьной команды; вид мяча, падающего в корзину, снился ему ночами и рождал в нем множество половозрелых ассоциаций. В итоге в четырнадцать он начал бриться, следить за внешностью и писать высокие стихи. Первые, не самые плохие, были посвящены рыжей однокласснице Алке Полохиной; он помогал ей с математикой, провожал до дома, говорил о любви и старался прорваться к серьезным поцелуям с продолжением. Испугавшись такого напора, Полохина от большого ума предпочла ему тихоню Леню Михеева. Так, по-девичьи трепетно, ему и сказала: «Отстань, Сташевский, надоел, мне нравится другой». Саша был потрясен; чтобы отвлечься от жгучей горечи, он бросил школьный баскетбол и увлекся пулевой стрельбой в тире на стороне, упражнение «три по десять, лежа, с колена, стоя» сделалось его любимым видом. Всаживая в мишень пулю за пулей, думая о подлой Алке и гнусном Михееве, он как клятву повторял сокровенные слова тренера Корыстылева: «В человеке, в отличие от мишени, куда ни попади, везде десятка». Душевная рана долго саднила, он не сразу отказался от Алки, боролся за нее долго и мужественно, и все фатально кончилось тем, чем кончилось на торжественной общешкольной первомайской линейке.

Директор школы, громоподобная Юлия Терентьевна, выступая перед учащимися с речью о великом празднике солидарности трудящихся, стремительно и бурно говорила о долге каждого ученика повышать успеваемость и крепить дисциплину. Алка и Михеев стояли в строю неподалеку от Саши. Они шептались, хихикали, соприкасались рукавами – смотреть на это было ему в лом, а все же смотрел, чернел, мысли бешено носились по орбитам его неглупой головы и, наконец, сообразил, что должен здесь и сейчас совершить нечто такое героическое, такое необыкновенное, что навсегда отведит Алку от постного Михеева. Подняв руку, он шагнул из строя, обозначив для Юлии Терентьевны – кстати, она вела историю в старших классах – желание задать вопрос по теме, и, получив, как положено, разрешение, громко спросил уважаемую даму, что сегодня, в честь праздника, она рекомендует пить: коньяк или водку? Школа грохнула и притихла, Алку окончательно отвернуло к Михееву.

Его хотели показать врачу-психиатру но Юлия Терентьевна, дабы не портить в РОНО впечатление о вверенном ей учебном заведении, не стала раздувать скандал. Последовало двухнедельное исключение из школы, очередное почетное звание «кретин», полученное от отца, и никому из взрослых не пришло в голову, что парень элементарно пострадал от первой любви.

И все же в школе его преследовали успехи. Он был спортсменом и лидером, веселым хулиганом и отличником; в классе его любили за то, что, когда к нему обращались за помощью, он никогда никому не отказывал. Если требовалось, чтобы математичка Клавдия Александровна не успела кого-нибудь спросить, никто лучше него не мог ее заболтать и отвлечь. Он задавал ей сумасшедшие спорные вопросы из высшей математики, экологии, лыжного спорта – поскольку она фанатела от леса, природы, птичек и лыж; азартная, с редкими усиками на тонких губах, Клавдия Александровна велась на его хитрость, с места включалась в спор, и добрая половина урока, счастливо для кого-то, улетала в небытие. Математичка его обожала; в четырнадцать он был направлен ею для участия в городской математической Олимпиаде, где с блеском попал в число первых призеров. Та же история повторилась на следующий год и еще два года подряд вплоть до окончания школы. Родители и педагогический коллектив во главе с предусмотрительной Юлией Терентьевной были уверены, что Сташевский поступит в физтех и, во славу школы, продолжит большую физико-математическую карьеру. Да-да, конечно, обя-

зательно, заверил он всех и Клавдию Александровну в первую очередь, и от большого своего парадоксального таланта поступил в Институт стран Азии и Африки, что при МГУ на улице Моховой.

Ничего он раньше не знал о стране Иран, никогда не читал великой персидской поэзии и часом раньше рокового решения ветренным июньским утром ступил во двор старого корпуса МГУ с несгибаемым намерением сдать документы на факультет журналистики – ему, в отличие от математички, казалось, что именно журналистика, бойкая, оперативная и содержательная, как нельзя лучше подходит и времени, и его активному организму. Так или иначе, простояв час в очереди на сдачу документов и до головной боли офонарев от запахов парфюма преимущественно женской, болтливой очереди, он вышел на перекур в университетский дворик, известный под названием «психодром». Дворик представлял собой зеленый вогнутый полукруг с клумбой посередине; закурив, он двинулся вдоль него, обозрел памятник Герцена и, далее, друга его Огарева, когда-то тянувших здесь учебную ляжку, дошел до конца полукруга и совсем неожиданно наткнулся на свободный от перебора девчонок, толчеи и очереди вход в Институт стран Азии и Африки.

Показалось любопытным; потянул на себя массивную дверь, ступил в прохладу, полумрак и оказался в пещере чудес.

Индийские сари и погонщики слонов. Вечные пирамиды Египта, шейхи, кальяны и провоцирующий танец живота. Голубые иранские мечети, мавзолеи поэтов, персидские ковры и нефтяные вышки. Японские гороподобные борцы сумо, китайские пагоды, джунгли Камбоджи и черные маски Конго.

Громоздкие, со всем этим сказочным богатством фотопанно на стенах говорили на разных мелодичных или гортанных языках, непонятно и разноцветно жили, много или мало работали, воевали, пели, танцевали и до забытья завораживали Сашу. Словно в неторопливое путешествие он пустился по восточным странам, они восхищали его все, каждая на свой манер; через час он достиг конца не очень длинного коридора и на повороте увидел указующую синюю стрелу с надписью «Приемная комиссия». Тотчас вспомнил, зачем пришел сегодня на Моховую, вспомнил журфак, очередь, которая, наверное, уже подходила, ощутил, будто живую, шевельнувшуюся под мышкой папку с документами и, на радость свою и свою беду остался на Востоке.

Институт стран Азии и Африки в огромном сообществе МГУ существовал на правах факультета, но был орденом полузакрытым, потому и носил странный предлог «при». При небольшом мозговом усилии нетрудно было бы догадаться, кто курировал и пестовал этот орден, но кому из счастливых первокурсников пристало углубляться в названия? А если кому-то и пристало, то кого из молодых не греет чувство собственной избранности, романтический огонь таинственности и острых приключений? Институт готовил переводчиков, дипломатов и научных работников, но, выражаясь точнее, каждый представитель таких профессий мог быть, при государственной в том нужде, срочно переделан в шпиона, простите, разведчика – потому и принимали туда женский пол в количестве, не превышавшем пятнадцати процентов от общего числа студентов. Женщины реже мужчин становятся шпионками, то есть, простите, разведчицами, функция у них по жизни другая (правда, если становятся, то уж на все времена – как Юдифь или Мата Хари), да и наказывать их за такие игры в стократ сложнее. Ничего не стоит по приговору высокого суда негромко шлепнуть в подвале, назидательно повесить во дворе или даже поджарить на электрическом стуле шпиона-мужчину; сотворить подобное с прекрасным полом цивилизованные суды, где верховодят мужчины, позволить себе не могут. Так что дамы-феминистки, добивающиеся тендерного равноправия, должны быть счастливы, что оно, равноправие, в принципе невозможно.

Ни о чем таком подобном Саша Сташевский не задумывался. Учил в кайф персидско-арабскую вязь и певучий фарси, язык соловьев и роз, по справедливости называемый фран-

цузским языком Востока. Он, с его врожденной музыкальностью, перенимал фонетику и интонацию языка так легко, что к третьему курсу практически не имел акцента. А еще он тащился от поэзии Рудаки, Саади, Хафиза и Хайяма, особенно от мудрого пьяницы Хайяма, по которому на втором году обучения написал знаменитую курсовую работу. С ней вышла незадача: Саша, перечитав поэта, сделал вывод, что Хайям – последовательный сторонник философии гедонизма, то есть пьянства, девушек и прочих неограниченных наслаждений единственной жизни. Так, собственно, в своей работе он с восторгом и написал, но был за такую точку зрения твердо раскритикован заведующим кафедрой персидского языка и литературы деликатным профессором Лазарем Пейсиковым. «Я вам поставлю „единицу“, Сташевский, – заявил Пейсиков, – если вы не отразите в курсовой классовую направленность творчества Хайяма, его огромное сочувствие к беднякам и ненависть к богатству». Саша пытался возражать, поскольку ни в одном хайямовском четверостишии особого «сочувствия к беднякам и ненависти к богатству» не обнаружил, но Пейсиков, член партбюро института, был непреклонен; Саша поспорила, поупирался, плюнул и написал, как Пейсикову было надо, получил за работу деканатскую премию и ценный опыт жизненной гибкости, то есть беспринципности.

Ах, молодость, молодость – время новостей! На третьем курсе – рановато, все понимали, что рановато, но так уж иным фартит – ему выпало первое испытание боем. Пейсиков, не иначе как с благословения таинственного ока с площади Дзержинского, доверил ему роль переводчика при делегации преподавателей Тегеранского университета, прилетевших в Москву по приглашению МГУ. Александр справился неплохо: понимал иранцев процентов на пятьдесят, процентов тридцать из того, что понимал, переводил, но при этом держался с такой непроницаемой уверенностью, что ни иранцы, ни принимавшие их советские коллеги не заметили в его работе никакого брака. Труднее всего пришлось на заключительном приеме в иранском посольстве. Его, переводчика, почетно усадили во главу большого накрытого стола – слева расположились иранцы, справа – приглашенные советские гости. На сверкающей белизне тарелки углом топорщилась визитка, из которой комсомолец Александр впервые узнал, что он «господин Сташевский» – такой непривычный титул серьезно повысил его самооценку. Неимоверная же трудность проявилась в том, что, когда лакеи в белых перчатках обнесли гостей винами и вкуснейшей едой и с утра голодный Сташевский собрался было поесть, с речью к гостям обратился посол, пришлось вилку-нож отложить и заняться, собственно, тем, для чего его призвали и возвели в звание господина. Он перевел, что смог, в том числе и провозглашенный свеженький тост за сотрудничество и дружбу, присутствующие выпили, и он глотнул шампани, но закусь уже не успел, потому что кто-то из советских тотчас поднялся с ответным словом, и Саше снова пришлось напрягать мозги. Так продолжалось все застолье, Сташевский остался голодным и на собственном опыте познал, как интересна роль переводчика в современном мире.

А еще за время учебы он разбогател на девчонок. Вместо одной умной Полохиной появились беленькая Наташа, рыженькая Света и худенькая Катя. Сам он не ухлестывал за девушками, ни времени у него не было, ни особого желанья – девушки, подогреваемые вечной озабоченностью о замужестве и продолжении рода, сами бегали за ним, талантливым, честолюбивым и веселым, в курилках между собой называли его обаяшкой и жаждали его общества. Но мужчиной он стал не с ними, а с Люсей Белкиной, лыжницей, мастером спорта, выпускницей Инфизкульты, и произошло это не на постели, не в квартире и вовсе не в городе, а совершенно непредсказуемо на крутом берегу, в мокрой росной траве в трех метрах от быстро плывущей Оки. Саша и Люся познакомились в автобусе, направлявшемся в Поленово, автобус, на Сашино счастье, сломался, им пришлось добираться пешком вдоль реки, когда случились та ночь под полной луной и любовь. Люсе было двадцать восемь, ему восемнадцать, Люся ехала к мужу в поселок с полной авоськой продуктов, он – вожатым в летний пионерлагерь, с пустыми руками и вечным голодом в юном желудке. Саша и Люся разожгли живой костерок, подкормились из Люсиных запасов и, как свойственно молодым, постепенно разговорились на опасные темы.

Он так хорохорился, так выдавал себя за бывалого ходока, что Люся быстро поняла: перед ней во всей красе и прелести вовсе не целованный девственник. Не воспользоваться таким подарком взрослая женщина, извините, не смогла; взяв его руку, лыжница Белкина возложила ее на свою кипевшую грудь и откинулась на спину лицом к всевидящему ночному светилу.

Оглоушенный своим мужским достижением, которое, кстати, за два часа было повторено трижды, он проводил ее почти до дома, до залаявших собак; она поклялась вернуться с одеялом, чтобы, продолжив любовь, скоротать с ним ночь и встретить луч восторженного солнца, он долго ждал ее в сырости, дрожи и надежде, но она почему-то не пришла. Никогда он ее больше не видел, но остался навечно ей благодарным за нежность и просвещение.

Уже мужчиной и капитаном команды он играл за институт в баскетбол, но, главное, так здорово стрелял в подвальном тире на Моховой, что установил рекорд МГУ, попал в справочники и стал председателем стрелковой секции института. Сташевский обучал держать мушку и поражать мишень не только студентов и студенток, но и преподавателей – однажды в подвал с мягкой нерусской улыбкой и просьбой «немножко понажимать на курок» спустился сам деликатный профессор Лазарь Пейсиков. «Нажимал» он, к удивлению Саши, очень даже неплохо, остался доволен собою и председателем стрелковой секции, что не помешало ему на очередной сессии вклеить Сташевскому тройку за «недоработки в персидском языке».

«Хорошая стрельба – здорово, сын, но понадобится ли тебе это в жизни?» – спросил однажды Сашу отец; спросил и, не дождавшись внятного ответа, не стал развивать тему; ничего, кроме гордости за сына, ни папа, ни мама в ту пору не испытывали. Ничего, кроме гордости, не тешило родителей и тогда, когда сын на досаафовском аэродроме в Тушине совершил зимний прыжок с парашютом, и даже тогда, когда на военной кафедре он заполнил на себя анкету из пятидесяти вопросов. Лысый, круглый, крепкий полковник, раздав мальчикам анкеты, попросил всех отвечать предельно правдиво, потому что от этого будет зависеть их будущее. Саша так и сделал. «Каких иностранных писателей вы читаете?», «Любите ли вы американское кино?», «Кто такой Леонардо да Винчи?», «Легко ли вы находите контакт с людьми?», «Быстро ли вы реагируете на вопросы?» – спрашивала его анкета, и он отвечал ей подробно, чуть бахвалясь, ничего из многочисленных своих достоинств не умаляя. Это уж потом дружки и знакомые говорили ему, что он дурак, что в анкетах такого рода лучше прикидываться шлангом, в тот момент советчиков под рукой не наблюдалось.

Да и чего ему было бояться?! Страна под ним оттаивала, трещала как мартовский лед. Раньше всех, словно пучки травы к солнцу, к свободе полезли анекдоты, за ними потянулись мысли людей. Духи «Запахи Ильича», пудра «Прах Ильича», мыло «По ленинским местам», трехспальная кровать «Ленин с нами» – такое изумительное кощунство разве забудешь? Когда в восемьдесят втором умер Брежнев, Сашке было чуть больше двадцати. Константин Устинович Черненко запомнился не только немощью, но и тем, что при нем впервые прекратили глушить «Голос Америки»; Андропов отметился в истории облавами на опаздывающих на работу, которые, удивительным образом, не столько стращали, сколько веселили народ. Юмор и смех, как обычно, стали оружием свободы. Смеялись надо всем, но больше – над престарелыми вождями и над собственной глупостью, над собой, так бездарно долго этим вождям доверявшим. Так что, Горбачев припозднился с объявлением гласности – она уже давно, помимо него, существовала в закипающей новым энтузиазмом стране.

Эйфория перемен вдохновляла Сашу Сташевского на невероятный, нечеловеческий, непонятно пока какой, но обязательно великий подвиг во славу обновляющейся родины. Все вокруг, казалось ему, разгоряченно к этому взывало. И только один – он запомнил его навсегда – дружок его, стоматолог Андрюха Костюкевич окатил его однажды холодным душем трезвости и неверия. Он был старше Саши и был классным врачом; у него были толстые рыжеволосые пальцы, раздиравшие до боли рот пациенту, но сработанные им пломбы держались по двадцать лет. «Пока жива легавка, – сказал он однажды, держа в руке тонко жужжащее, жаждущее быть

примененным жало бура, – ничего в Союзе не переменится». Саша не сразу понял, что такое «легалка», а когда понял, решил, что радикальный врач Костюкевич преувеличивает, и даже вступил с ним в спор.

Александр Сташевский с красным дипломом закончил университет. На вручении в актовом зале МГУ, когда ректор академик Садовничий на фоне тяжелых бордовых знамен пожал ему руку и что-то пробурчал о гордости за таких выпускников, отец и мать расплакались и совместно приняли валидол.

Они еще раз прибегли к валидолу, когда Саша им сообщил, что на него в ректорат пришел запрос из агентства печати «Новости»; Сташевскому предлагали работу редактора в иранском отделе редакции Ближнего и Среднего Востока АПН. «Соглашайся, сын, – сразу сказал папа. – Это очень ответственная работа, очень, ты себе даже не представляешь, насколько», – добавил папа, и Саша за многие прошедшие годы так толком и не понял, знал ли отец на самом деле, насколько ответственна та работа, или только догадывался?

...Снова всплывает в памяти вздрогнувший на столе телефон и тот роковой звонок. Он прекрасно все помнит. Стрекот пишущих машинок в комнате, гул Садовой за окном и негромкий, настойчивый голос в трубке...

К тому времени он проработал в АПН больше трех лет, стал членом Союза журналистов, постоянно писал и отсылал в Иран статьи о советско-иранских связях, но монотонное однообразие таких материалов начинало его угнетать. «Развивается и крепнет», «Проверено временем», «Рука друга» – всего три универсальных, взаимозаменяемых заголовка сочинил для себя Сташевский; на спор и на смех он мог поставить любой из них на любую статью о советско-иранском сотрудничестве и всегда попадал в десятку, однако такой смех все чаще заставлял его задумываться. Сегодня – «Развивается и крепнет», через месяц – «Проверено временем», через два – «Рука друга» и так далее, и заново бег по кругу – что, ему целую жизнь довольствоваться этой жвачкой? Он сравнивал себя с коллегами по редакции и – должно быть – нескромно, но вполне объективно приходил к выводу, что он ярче, образованней и пишет лучше остальных, ему казалось, что и начальство, в лице главреда Юрия Волкова, пестующего молодняк, не может не замечать его таланты. Высокая самооценка, молодая жажда новизны, перемен и тоска от отсутствия таких перемен – таков был в то время Сташевский. Во всем остальном он жил нормально, любил в избытке появившееся пиво, играл в большой теннис и встречался с девушками, которых после блистательного вступительного экзамена на ночной Оке стало разнообразно много, – он талантливо транжирил молодость. Новизна и перемены поджидали его, но совершенно с неожиданной стороны.

– Александр Григорьевич? – переспросила трубка. – Почему вы молчите? Здравствуйте, еще раз. С вами говорят из Комитета государственной безопасности.

– Ага, из ЦРУ, – хохотнул, наконец, Сташевский. – Я тебя вычислил, Мальцев. Слабенько выступаешь, старичок. Раньше ты был интересней.

Он добавил еще одну едкую фигуру, бросил трубку и только потом включил мозги. Что-то ему все-таки не понравилось, что-то вызвало недоумение. Голос? Интонации? Сперва был уверен, что хохмит Мальцев, давний его приятель, объявлявшийся редко, с редкими розыгрышами типа: «Горвоенкомат, капитан Козлов. Почему не являетесь по повестке?». Раньше на такие приколы Сташевский доверчиво велся, теперь его было задешево не купить, но, еще держа руку на телефонной трубке, Саша засомневался: Мальцев или не Мальцев? Но если не Мальцев, то кто? Правда, что ли, ГБ? Но с какого?

Он трижды перезвонил Мальцеву, телефон отлалялся короткими гудками.

Он проверил на глаз наличие сигарет в красно-белой пачке «Явы», аккуратно прибрал в сторонку ручки, скрепки, резинки, поднялся и, в недоумении и угрюме, зашагал в курилку, устроенную на лестничной площадке в конце замысловатого длинного коридора. В любое

время рабочего дня там, не считая дам, обнаруживались двое-трое-четверо курильщиков-мужчин, знакомых из разных редакций. Так было и в этот раз. В драгоценном табачном дыму коллеги обменивались новостями, озоровали анекдотами, болтали и смеялись – разминали утренние журналистские мозги, отравленные с вечера алкоголем. Был среди них и Толя Орел, приятель Сташевского по ИСАА, изучавший в институте Индонезию и индонезийский язык. Орел был на три года старше, но уже успел жениться на верной Ольге, нажить фигуру, осанку, командный бас и произвести на свет крепыша Петю. Толик был добр, широк, обаятелен и надежен, Саша с удовольствием с ним общался, играл в шахматы, в теннис, выпивал и спорил о политике; понятно, что он подгрел именно к нему и почти шепотом сообщил ему новость. «Не обращай, старичок, живи! – среагировал Толик, и солидный его бас заворочался в курилке, точно тяжелые камни. – А лучше – сразу посылай подальше. Мудаков телефонных море развелось. Мне тоже такие звонили». У Саши, спасибо Орлу, отлегло, он вспомнил, что так, собственно, со звонившим мудаком и поступил; расслабившись, закурил и принял участие в общей реакции на анекдот про три стадии женской верности, которая кончается понятно чем.

Вернувшись в редакцию в состоянии шипучего азарта, он с хрустом заправил в «Эрику» чистый лист бумаги, чтобы немедленно поправить, то есть фактически написать заново статью; пока что она была бюрократической абракадаброй, но была важна для редакции, потому что была подписана замминистра мясной и молочной промышленности Союза. «Молоко и мясо, если они настоящие, – постарался написать первое человеческое предложение Саша, – что в Советском Союзе, что в Иране обладают замечательными свойствами и востребованы на...» Окончить мысль не дал назойливый телефонный звонок. Саша втуне матюгнулся и поднял трубку.

– Перекурили, Александр Григорьевич? – спросил уже знакомый голос. – Мы за вас рады. Трубочку, пожалуйста, не кладите. И чтоб больше никому о звонке ни слова. Вы поняли? Предлагаю вам послезавтра встречу...

3

Новость пробила до пят.

Какие-то три-четыре предложения произвели в его молодом мужском организме тектонический сдвиг мыслей и настроения.

«Зачем? За что? Откуда они знают, что я выходил в курилку? Неужели Орел настучал? Нет, Толя не такой. Или у них там прослушки понатыканы?.. Они охраняют госбезопасность – значит, я каким-то образом ее нарушил? Каким? Я или кто-то из моих знакомых? Кто?.. Я обвиняемый или свидетель по делу?.. Что со мной будет послезавтра?»

Шарада не разгадывалась. Это был не страх, нечто более противное. Холодное, как лед, опущенный в кишки, преддверие страха, пустота незнания, осложненная любопытством и желанием кому-нибудь обо всем рассказать. Желание было, а рассказывать было некому, потому что было нельзя, и такой запрет походил на нудную пытку. Отказавшись от послерабочих шахмат с друзьями из разных редакций, он вышел из АПН и неторопливо двинулся вдоль шумной Садовой в сторону Москвы-реки и парка Горького; хотелось продышаться и ситуацию толково обдумать.

Из фильмов, книг, молвы, семейного опыта он неплохо представлял себе, что такое госбезопасность, что значило попасть в ее любовные объятия и оказаться зацелованным – иногда, в случаях особой силы чувства – до самой смерти. Дед его, Илья, любимый, могучий, лысый, белоголовый старик, был для него живым участником такого любовного соития; его рассказы, складываясь в мозаику впечатлений, с детства будили в Саше неприязнь к навязчивой партнерше; союз воли и неволи, рано понял Саша, способен породить только одно дитя – несчастье.

На середине Крымского моста под ветерком, ершившим речную спину, Саша вспомнил любимую присказку деда; он остановился, поглядел на далекую воду, помедлил, философски плюнул вниз и, сколько мог, сопровождал плевков взглядом. Живым своим нутром Саша осознал, что аксиома деда актуальна на все времена. «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – так, по классике марксизма, начинал ее дед, а заканчивал, чуть переиначив, но очень, как понял теперь Саша, точно: «Нельзя жить в СССР и быть свободным от госбезопасности».

«Дед имел право так утверждать, – думал Саша, – может, меня вызвали из-за него, семидесятилетнего ветерана? Может, почетным знаком хотят его наградить, денежной премией за муки, орденом за боль? Как же, размечтался, – остановил он себя, – не переводи стрелки на деда, тебя вызвали из-за тебя самого, ты маленькое беспомощное говно, и никто тебя не защитит».

В Парке Горького, полупустом по случаю вечера, жары и лета, он взял жестянку пива с солеными сухарями, уселся за столик на открытой веранде кафе, обращенной к пруду, на котором плавали утки и пух, и снова вспомнил деда. «Его только тронь, потеряби вопросом, – подумал Саша, – он снова начнет рассказывать такое, что невозможно забыть и что ты обязан пересказать своим детям. Пусть они напишут романы и сложат рок-баллады, пусть запечатлеют деда в культурном слое, он останется в истории даже тогда, когда все остальное превратится в ничто.

Вспомни хотя бы тот его рассказ, об аресте».

Как в августе сорок первого он, молодой и горячий, уже известный эстрадный танцовщик, отправился на святую войну добровольцем. Как накануне в Мосэстраде состоялся шумный патриотический митинг, и артисты, члены и не члены великой партии, гневно гвоздившие с трибуны фашистскую нечисть, все, как один, записались в ополчение на защиту Москвы. Выступить предстояло срочно, завтра же, на рассвете, но на рассвете на сборный пункт вместо полусотни записавшихся вдохновенных орлов явились всего пятеро обычных людей: Илья Сташевский, два близнеца-акробата Тушины, жонглер Спивак и уборщица Вершинина – Саша

с детства помнил эти фамилии. Дед, рассчитывая переодеться во все армейское, пришел на сборный пункт в легком пальтеце и стареньких лаковых туфлях, но обмундирования и сапог для ополченцев не нашлось, как не нашлось на каждого и винтовок; их сколотили в колонны и пешими, с одной винтовкой на троих, погнали по Минскому шоссе на Запад. Под Вязьмой измученные походом, с растертыми в кровь ногами ополченские полки приняли бой с танками Гудериана. На вороном жеребце широкоплечий комиссар в черной коже держал перед ними духоподъемную бодрящую речь о скорой победе, когда от дальнего леса донеслось эхо разрывов и показались борзо ползущие стальные букашки. Через четверть часа с ополченским войском было покончено. Комиссар на быстром коне куда-то сгинул, люди частью были побиты, как капуста, и валялись в поле, частью разбежались по окрестным лесам; деда поймали, взяли в плен, три дня пленных держали без еды, потом колонной человек в пятьсот погнали на сборный пункт. Дед так и не понял, за что ему так крупно повезло в пути: на обочине на ходу перочинным ножиком он отрезал у мертвой лошади губу и спасибо той лошади и ее синей губе. На многолюдном сборном пункте, огромной яме от бывшего песчаного карьера, он и близнецы Тушины жарили губу поджигая оставшиеся спички, делили на троих, жевали полутухлую полусырую и тем спаслись. Ему и дальше вроде бы везло. Из плена видного парня вытащила одна из деревенских баб – немцы на первых порах войны разрешали местным женщинам отыскивать среди пленных своих мужей и забирать их домой. Фрося Корягина мужа не нашла, но поступила как все вокруг патриотки, – указала на деда; он, сообразив, что к чему, бросился «жену» обнимать, и их отпустили. Дурак, он мог бы у нее задержаться подольше, так нет, едва помужски отблагодарив, оставил Фросю, чтобы пробраться в Москву и снова идти воевать. Пробрался, явился в военкомат, все рассказал, встал на учет, чтобы быстрее отправиться на фронт, и на этом везение оборвалось. Ему и бабушке достались всего три ночи любви, в результате которых родилась моя мать, четвертой ночью за дедом пришли доблестные энкавэдэшники. «За что?» – спросил он. Не понимал, в чем его вина, втолковывал ночным гостям, что он, наоборот, доброволец, что рвется на фронт, что его арест ошибка. Ему было заявлено, что он, Илья Андреевич Сташевский, изменник родины, поскольку сдался в плен врагу. В последней крепкой надежде он кинулся к шкафу, где хранил благодарственные грамоты за концерты в армии и частях НКВД. «Вот же, вот! – втолковывал он, – вот моя фамилия, а вот внизу подписи – посмотрите, чьи! Вот рука Ворошилова, вот Буденного, вот подпись самого товарища Берии! Это вам о чем-нибудь говорит?» «Еще как говорит, – ответил главный гэбист. – Подотришь этими грамотами – вот о чем это нам говорит».

«Супер», – хлебнув пивка, сказал себе Саша. Дед много раз признавался, что последний ответ ночного гостя поразил его даже сильнее, чем сам факт ареста. С недоразумением ареста, надеялся он, рано или поздно органы разберутся, а вот то, что ему посоветовали сделать с подписями великих вождей, его потрясло.

Органы, действительно, во всем разобрались. Дед получил восемь лет лагерей, а потом пять лет «по рогам», то есть еле-еле жить, с трудом дышать и работать за копейки – на приличные места не брали – Сташевский мог только в захудалых ссыльных провинциях, без права возврата в центральные области и крупные города.

Наглые утки не стали жрать соленые сухари; схватили в жадный клюв и тотчас выплюнули с общим презрением к человеку. «Суки, – подумал Саша, – вас бы в тот, дедов, лагерь – посадить на баланду».

«Не зря мне вспомнился дед», – подумал Саша. Страх отполз и затаился в камнях. Его комитетское жало уже не казалось таким смертельным. Той дорогой познания уже прошел его предок. Прошел, выжил и еще живет в почете и с двумя инфарктами внутри груди вместо орденов снаружи. «Он не боялся, – сказал себе Саша. – И ты не бойся. Живи, дыши в дырки. Закалка у тебя наследственная».

Пустую пивную банку он зашвырнул точно в урну. Два очка, на автомате посчитал Саша, отметив, что баскетбол в нем не кончился.

Главное и самое трудное было раньше времени не проболтаться. Даже Светке ни слова не говорить. Не пробалтываться вообще, не распространять информацию, не просить совета ни у родителей, ни у деда. Может, и не понадобится. Неизвестно еще, что это будет за встреча и что с ним будут делать. Пугать, уговаривать, бить, пытаться? Или, может, объявят благодарность?

4

День «ч» с утра выдался туманным; до метро «Киевская», как обычно, он перемещался в переполненном троллейбусе и, держась за поручень, думал о том, что такая неопределенная погода полностью соответствует его положению. В троллейбусе толкались и напирали, прижатая к нему мягкая, как подушка, баба гнала в его сторону волны пота, заметно ухудшенного дезодором, и, то ли от такой смертельной дыхательной смеси, то ли от нервного ожидания сегодняшнего события, его слегка подташнивало.

«Что за встреча, какие дела? Ты не знаешь. Варианты с множеством смыслов и неясным исходом, – размышлял он, покачиваясь в троллейбусе. – Для кого-то она то, что надо, для кого-то последняя, может, и для тебя будет такой. Мог бы ты вчера вообще от нее отказаться? Мог бы, наверное, но не успел, взяли тебя, блин, на замах и испуг, но сегодня-то ты с холодной головой, сегодня ты от всех их предложений открестись с ходу».

Накануне доставала расспросами мать. Она не была большой артисткой, но психоаналитиком была превосходным, особенно в том, что касалось мужа-киношника и сына. «Что с тобой, Саша? – то и дело вглядываясь в него, вопрошала она вчера за вечерним чаем. – Что происходит, сын?» «Ничего», – пожимал он плечами, удивляясь тому, что мама замечает в нем что-то необычное; сам в себе он не ощущал никаких перемен, да, мысли не отпускали, сомнения тревожили, но чтобы они отражались на его молодом красивом лице – вряд ли. И как она чувствует? Если она так тонко чувствует, когда еще ничего нет, то что будет с ней, когда с ним действительно нечто произойдет? «Не ври, – наступала мать, – я же вижу. Что случилось? Что-то на работе? Или со Светкой разругались?» Отец ничего не замечал. «Зоя, уймись, – успокаивал он жену, – надо будет, он сам тебе расскажет». Но мама не унималась. Пришлось, чтобы ее успокоить, все свалить на Светку; они часто вздорили, но любили друг друга остро и преданно. «Если даже Светка виновата, – постановила мать, – срочно ей позвони и попроси прощения – будь мужчиной». Он согласился.

С «Киевской» он обычно доезжал до «Парка культуры», пересекал подземным переходом Садовую, оказывался у старинных, еще императорских провиантских складов, и вот оно, в ста быстрых метрах пешком от складов, стеклобетонное здание агентства. Он выходил из дома с запасом, но бывало, что троллейбусы подводили, и тогда он влетал в апээновский вестибюль на четверть часа позже девяти и попадал под периодическую, еще с андроповских времен, облаву на опоздавших. Сегодня обошлось, приехал вовремя; дурацкая мысль о том, что на казнь опозданий не бывает, пролезла в сознание и заставила матюгнуться.

До одиннадцати промаялся на месте, занимаясь не работой – чтением ненужных старых газет и косым поглядыванием на часы. В редакционной комнате находились восемь персон: шесть редакторов и две фотоподборщицы. Сташевскому казалось, что за ним следят. Ровно в одиннадцать попросил у Волкова разрешения выйти в город за сигаретами, и Волков на удивление легко – Саше показалось, даже с готовностью – его отпустил. Впрочем, сбегая по лестнице, он подумал о том, что, подозревая всех и каждого, можно съехать с ума.

«Маскировка и осмотрительность», – думал он, поспешая к остановке троллейбуса «Б», невольно включаясь в шпионские, столько раз виденные в кино игры. Прямому пути на метро хитро предпочел кружной, запутанный маршрут. На «Б» доехал до площади Маяковского и пешком, пешком, ускоряясь и срывая дыхание, двинулся по Горького к центру. Миновал памятник поэту на Пушкинской и полетел вниз к Кремлю по тротуару, среди москвичей и летних приезжих, мимо Долгорукого на коне с яйцами, над которыми, примеривая их к своим, всегда хохмил, мимо телеграфа с глобусом на другой стороне, кафе-мороженого и магазина «Подарки» – на этой, и тормознул у подземного перехода к Охотному ряду. Почувствовал, что в новых, надетых по такому случаю ботинках натер левую ногу, но сейчас было не до ноги.

Взглянул на часы – вроде не опаздывал, нырнул под землю, выскочил на свет и волю с другой стороны и... вот она гостиница «Москва» – соты, под завязку набитые иностранцами, и, как оказалось, не только ими.

«Ты любишь детективы, – усмехнулся он, – ты попал в него сам».

В вестибюль, как предупреждал его звонивший позавчера голос, он проник без помех. Запретный заслон из людей в одинаковых пиджаках объявился чуть дальше вестибюля, у самых лифтов и лестниц, но ему туда было не надо.

Все должно было произойти здесь.

Он осмотрелся.

Лед в желудке незаметно растопился, и волнение куда-то ушло, оставив вместо себя повышенное внимание на четкое исполнение уговора. «Мужчина за тридцать, в спортивной куртке, с газетой, свернутой в трубочку», – билось у него в памяти. «Банально и серо», – сказал бы он раньше, прочитав такое в книжке; не подозревал по молодости лет, что самое опасное и ответственное именно так и происходит – банально и серо.

Мужчина. В серой спортивной куртке. Со свернутой в трубочку газетой. «Блин», – матюгнулся и тотчас вспотел Сташевский – таких мужчин среди двух десятков других мужчин и женщин, ожидавших в вестибюле, оказалось двое. Один, держа в руках газету, спал в кресле за низким журнальным столиком, другой, с газетной палкой за спиной, нервно, туда и обратно, мерил ногами полосатую ковровую дорожку. Саша заколебался. «Твою мать. Хоть бы кто знак мне подал, проявил признаки ожидания. Стоп. Я козел. Вот же он знак: нервы». Сташевский поравнялся с пешеходом на дорожке и негромко выдохнул то, что было уговорено: «Здравствуйте. Я насчет билетов на футбол». «Что? – взвизгнул мужчина. – Какой еще футбол? Я жду Терентьева, из Свердловска! Вы Терентьев? Вы еще, кажется, не Терентьев!»

Сташевский стушевался. «Я Джеймс Бонд, – подумал он. – Я полный козел».

Он обернулся.

Спавший за журнальным столиком открыл глаза и, радушно распахнув руки, поднялся ему навстречу. «Вы насчет билетов? Это вам ко мне». Он ступил на полосатую дорожку, Саша без слов – за ним; оба направились к лифтам, где люди в одинаковых пиджаках почему-то не обратили на них внимания.

Банально и серо. Три слова о билетах, из которых никто из окружающих ничего не понял. Три слова, определивших судьбу.

5

Поднимались втроем: Саша, комитетчик «с билетами на футбол» и какой-то командировочный с пухлым свертком продуктовой удачи, упакованной в фирменную бумагу ГУМа. Командировочный шмыгал застуженным носом, Саша и комитетчик отрешенно молчали, но любопытство побеждало человека: краем глаза, очень осторожно Саша изучал того, кто от имени всесильной организации выхватил его из потока жизни ради этой насильственной встречи.

Никакой не гигант, ростом чуть ниже его. Спортивен, крепок, русоволос, с прямым тонким носом, внешность обычная, даже заурядная, ничем не выделяющая ее обладателя из толпы. «Наверное, деятелям его профессии и нужно быть такими – неприметными, серыми, без особых ярких примет, – подумал Саша. – Может, это вообще мошенник? – мелькнуло у него. – Вон, сколько их в перестройку развелось, может, это новая мальцевская шутка на более высоком фантазийном уровне?»

Но на пятом этаже с кремовыми стенами, на который они ступили, дежурная так по-свойски кивнула его спутнику, так обыденно отомкнула ему номер, что Саша сразу поверил: незнакомец здесь свой, а номер – конспиративный, явочный.

– Заходите, будьте как дома, – пригласил он Сашу, и Саша следом за ним переступил порог судьбы.

Ждал подвоха, окрика, может, – черт их знает! – даже удара – обошлось, но волнение помогло глазам и памяти накрепко сфотографировать номер. Неширокий коридор с вешалкой и шкафом, комната с застеленной кроватью и эстампом-пейзажем над ней, тумбочка, кресло, два простых стула, телевизор и письменный стол с корявыми краями, искалеченными сдиранием крышек с бесконечных пивных бутылок. По правую руку коридора за белой дверью, вероятно, находился санузел; дверь была плотно притянута к проему, ни шума, ни запаха сквозь нее не проступало, но седьмым своим сверхчувством Саша ощутил, что за дверью находится некто. «Беседа втроем – зачем? – спросил он себя и себя же за тупизм такого вопроса отругал: – Наверняка тот невидимый третий будет слушать, записывать и ловить кайф, как ловит кайф каждый подслушивающий или подсматривающий ублюдок».

– Прошу... – комитетчик предложил ему кресло, стоявшее против окна. Саша сел, как под прожектор, его лицо, до подробностей страха в глазах и складках, оказалось высвечено дневным светом. Себя незнакомец тренированно опустил на стул в тени. – Ну, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, Александр Григорьевич. Очень хорошо, что вы пришли. Значит, уважаете.

«Попробовал бы я не прийти», – подумал Сташевский, удивленный чрезмерно радостным «здравствуйте», но вслух сказал несколько иное:

– Пришел. Вообще-то не понимаю, зачем.

– Побеседуем. Поговорим о жизни. Расслабьтесь, мы здесь совершенно одни. Хотите курить – пожалуйста, пепельница перед вами.

Он так убедительно заверил гостя в уединенности, что Саша тотчас вспомнил о том, кто находится в ванной комнате. Быстро закурил, затянулся, заметил, что его собеседник слегка поморщился от серого дыма, но легче от этого Саше не стало, зажим не прошел. Он видел перед собой лицо нормального, скорей, даже симпатичного человека, разница между ними составляла всего десять – двенадцать лет в пользу комитетчика, у них, возможно, были одни и те же кумиры в книгах, музыке, кино и футболе, но в силу обстоятельств за одним стояла всесильная система, за другим – родители и дед; Саше приходилось подчиняться, и это его напрягало.

– Кстати, – с улыбкой спохватился незнакомец, – чтобы никаких не было сомнений... вот, пожалуйста... – Его рука извлекла из внутреннего кармана удостоверение с литерами «Комитет Государственной Безопасности» и раскрыла его. Описав полукруг, рука слишком близко и слишком быстро приблизила книжицу к Сашиним глазам и снова унесла ее в карман пиджака. «КГБ» – только в этом смог убедиться Саша, ни фамилии, ни звания, ни отдела он разобрать не успел, но самое важное он узнал.

«Похоже, я попал, – подумал Саша. – Взяли, как деда. С той разницей, что я явился сам. Гигант. Большой гигант».

– Убедились? Вот и отлично. А зовут меня для вас... м-мм, ну-ка, дайте-ка мне любое имя. На свой вкус. Как назовете, таким я для вас и буду. Вы поняли? Только для вас, как пароль. Ну-ка! Саша, Коля, Витя. Абрам, Аслан, Альберт, Артур. Любое выбирайте или придумайте свое. Ну-ка!

«На хрен мне нужно твое имя», – подумал Саша, но вслух сказал:

– Давайте – Альберт, чтоб я не спутал. Он у нас во дворе живет, радиолу любит ставить на открытое окно, чтоб музыка – на весь двор. Пивной пьяница. Сын испанского коммуниста-эмигранта и русской горничной, которая в номере у него убирала.

– Отлично. Альберт так Альберт, не важно, что пьяница – имя хорошее.

– А настоящее ваше имя какое?

– Лишняя информация. Представьте, начнут вас пытаться во вражеской контрразведке. Подведут к ванне с серной кислотой, мокнут в нее для начала ваш мизинец и потребуют назвать мое имя. Истинное незнание такового может спасти вам жизнь.

– Хорошая шутка.

– Это не шутка. Идем дальше, Александр Григорьевич. Комитету нужна ваша помощь.

– Не понимаю, чем я могу вам помочь? «Мать, – промелькнуло у Саши, – ванна не шутка».

– Сушая ерунда. Ванна вам не угрожает.

– А почему именно я? «Идиотский вопрос», – успел подумать Саша.

– Обычный вопрос, – сказал Альберт. – Дело в том, что мы хорошо вас изучили. Знаете, в нашей работе приходится иметь дело с разными людьми. Иногда общаешься и с негодяем, и с подонком, вообще с разным сбродом – что поделаешь. Александр Григорьевич, жизнь, хоть она и наша, советская – штука пестрая, а мы реалисты; помните Ахматовское: «Когда б вы знали, из какого сора...» – вот – вот, речь о стихах, хотя вполне приложима и к людям, но вы совершенно другой, достойный и яркий человек, потому мы к вам и обратились. Вы поняли меня?..

«Похвалил волк ягненка», – подумал Сташевский.

– ...Мы знаем, ваш дедушка был несправедливо репрессирован, потом реабилитирован, понимаем, что его история внушила вам боязнь, недоверие, даже ненависть к нам, но понимаем, что это нормально – я бы на вашем месте чувствовал то же самое...

«Пой, птичка, пой», – подумал Саша.

Он тотчас вспомнил деда, его рассказ о том, как его допрашивал добрый следователь НКВД. Чекист не торопил, угощал «Казбеком» и сочувственно кивал по поводу незаслуженного дедова ареста; он давал деду возможность излить душу, а если и останавливал местами, то только для того, чтобы слово в слово записать его показания. «Минутку, – говорил он, вода пером по бумаге, – тормозните, Илья Андреич, не торопитесь, я за вами не поспеваю, а для следствия важна каждая подробность. Так как, вы сказали, вас арестовывали?» Обрадованный такой его прилежностью, дед досконально поведал свою историю. «Отлично, – сказал в завершение следователь. – Надеюсь, наш с вами протокол поспособствует вашему освобождению. Подписывайте, Илья Андреич. Вот здесь, после „С моих слов записано верно“». Вернувшись в камеру, дед с восторгом поведал товарищам по несчастью о том, какой душевный у них

появился следак, о том, как проходил его допрос, и о том, что «не все, значит, сволочи в НКВД, бывают и другие». Тишина была ему ответом; потом бас ростовского урки поинтересовался: «А прочел ли ты, фраерок, то, что подписал? Если прочел – не глупый, не прочел – совсем гений». Дед похолодел. На следующем допросе все повторилось. «Продолжим нашу работу», – сказал следователь. Последовал «Казбек» и неторопливая, слово в слово, запись всего дедова повествования. «Поздравляю, – заключил следователь. – Можно сказать, сделан еще шаг к восстановлению справедливости. Подписывайте, Илья Андреич». «Да-да, – сказал дед, – конечно, я подпишу, только хотел бы сперва прочесть». И тут добрый следователь изменился в лице. «Подучили? Открыли глазки дружки по камере? Ничего, я тебе их обратно закрою». «Что вы творите, зачем? – удивился дед. – Вся ваша ложь, все оговоры все равно развалятся в суде, и вам придется отвечать». «Дурак, – усмехнулся следователь, – ты у меня не в суд попадешь. Я тебя через военный трибунал пушу, через революционную тройку, понял?..»

– ...Мы также знаем, что вы хороший баскетболист и отличный стрелок, – с улыбкой продолжал Альберт, – водите авто и мотоцикл, в институте даже прыгали с парашютом, знаем, что любите Хемингуэя, Платонова, группу «Квин», кстати, я тоже ее люблю, что увлекаетесь иконами и имеете серьезные отношения с девушкой по имени Светлана. Все правильно?.

– Все правильно, – кивнул Саша. «Ну, имею я пару икон, в деревне у бабушки на чердаке нашел, ну и что? В церковь не хожу, а если б и ходил, то что? И про Светку разнюхали. Дед прав, они везде, даже в унитазах».

– Теперь серьезно, Александр Григорьевич... – Альберт склонил голову и сжал кулаки, отозвавшись хрустом... – Вы имеете полное право ненавидеть нашу организацию времен Ягоды, Ежова, Берии и прочих мерзавцев, поверьте, я ненавижу их так же, как вы, мой дед погиб в лагере под Тавдой, это ВостокУралЛаг, за Свердловском. Так-то...

– Сочувствую, – сказал Саша, но тотчас сообразил, что, возможно, комитетчик и привирает.

– Но хочу, чтоб вы знали, нынешний Комитет совсем иной, люди в нем работают совершенно другие. Чистые, честные, идейные, интеллектуалы, аналитики, возьму смелость утверждать – лучшие люди отечества. Во всяком случае, те, для которых судьба страны – не пустой звук... Видите, я вас не вербую, не шантажирую, ничем не угрожаю, сотни людей мечтают с нами работать, но мы выбрали вас как самого перспективного. Никто не собирается делать из вас стукача – упаси бог, этот жанр не для вас, но Штирлица и разведку вообще, я думаю, вы уважаете. Разведка – красивая профессия для настоящего мужчины. Я прав?

– Штирлиц – хороший человек, – сказал Саша и подумал о том, что Штирлицы хороши и значительны только в кино, а разведка... какая мне на хрен разведка? Шифры, информация, слежка, разоблачение, тюрьма и страх – разве это для меня?

– Александр Григорьевич, можете сразу от нас отказаться, но подумайте, раз вы понадобились нам, значит, вы нужны стране. Лихо я завернул, правда? Вы, как журналист, должны оценить.

– Да, неплохо. Все же я не понимаю, в чем может состоять моя помощь?

– Заодно мы могли бы усилить ваши позиции в Агентстве.

– Я понял. Заодно с чем? «Скрытый шантаж, не иначе», – подумал Сташевский.

– Александр Григорьевич, вы ведь мечтаете о командировке и работе в Иране.

– Хотелось бы.

– Во-от. Мы могли бы посодействовать... Или не посодействовать. Шутка.

– Угроза.

– Ну, ну, разве это угроза? Наши настоящие угрозы не так-то просто распознать.

Саша видел, что комитетчик, двигая кадыком, ведет разговор легко и раскованно, юморит и импровизирует, но ощущение того, что встреча проходит по сотни раз повторенному

сценарию, что слова и шутки комитетчика заучены почти наизусть, его не покидало. «Я не первый, – подумал он. – Я не последний», – пришлось ему добавить.

В дверь номера постучали, Саша дернулся и почему-то сразу вспомнил того, кто подслушивает в ванной, – как он там, в духоте и наушниках, жив ли? – смену ему прислали, что ли? Но вошла хорошенькая официантка с чайным подносом. Быстро и молча, с лукавой улыбкой она сервировала на журнальном столике чай. «Спасибо», – сказал Альберт. Она игриво кивнула; вильнув бедрами, вышла, и, то ли от ее чудных бедер, то ли от того, что он уже обвыкся с ситуацией, Сашу, наконец, немного отпустило.

Крепкий черный чай спиралью заполнил чашку; комитетчик предложил ему сахар, сухое печенье и только потом налил черную влагу себе.

Чай был вкусен. «Везет же, – подумал Сташевский, – не иначе как настоящий цейлонский потребляют. Что делать, что мне делать? Соглашаться? Как? Как я, Сташевский, внук политзэка, стану агентом КГБ? Хоть он прежний, хоть новый, хоть там все интеллектуалы и лучшие люди отечества – это все равно ЧК со всеми ее обычными пирогами. Не важно, что они мне предложат, важно, что я соглашусь и, значит, стану гадом. Потому что все – ложь, и я им не верю... А если не соглашусь? Если пошлю их сейчас подальше, с горы, со свистом, чтоб с головы на жопу кувыркались?»

– Штирлиц – хороший человек, – задумчиво повторил Саша, размешивая в чашке сахар. Потом, придушив на минуту страх, он очень внятно произнес: – Альберт, я, наверное, все-таки откажусь.

Альберт неторопливо дожевал печенье, запил его чаем и, помрачнев, опустил чашку на блюдце.

– Кстати, о Штирлице слышали анекдот? Штирлиц склонился над картой Союза – его рвало на Родину.

Он размашисто захохотал. Сташевский натянуто заулыбался, анекдот был старый. «Я попал, – мучился Саша. – Боюсь соглашаться. И боюсь не соглашаться. Что делать? Дед, что мне делать? Что бы сделал ты?»

Альберт прервал свой смех внезапно.

– Что же, я вас понимаю. Читайте, ничего я вам не говорил, никаких предложений не делал. Все, проехали, забыли, зачеркнули. Выполните разовую просьбу, и на этом разбежимся. Мы ошиблись: серьезного дела вы не потянете, не тот у вас движок...

И Сташевский напрягся; ему бы сразу не согласиться, поблагодарить за чай, доверие, уйти и постараться забыть, как вдруг для него самого неожиданно игла страха остро его уколола – он понял, что не простят ему отказа, достанут, отыграются, отомстят... Если и было в нем слабое место против ГБ, то только этот врожденный – от деда или предков, живших много раньше? – внутренний страх. А еще давно цвело в нем тщеславие самого умного, самого талантливого, самого захваленного парня, которому по плечу самые великие дела. Страх плюс тщеславие – взрывчатка, которая взрывается сама по себе... Знал ли об этом Альберт заранее или набрел на слабинку собеседника случайно, не имело теперь значения. Имело значение только то, что Сташевский задал ожидаемый от него вопрос:

– А что я должен сделать?

Спросил и сам на себя изумился, что напрашивается на задание от этих, от них... от тех, кого собирался послать, – что за кульбит, что за хрень с ним произошла? С какого? За каким? Единственное, мгновенно пришедшее в голову оправдание перед собой и дедом состояло в том, что он поступает так только для того, чтобы поскорее от «них» избавиться.

Альберт повеселел. «Значит, знал, все знал, хитрован, заранее просчитал мою реакцию!» – мелькнуло у Сташевского, но было уже поздно; сдвинув в сторону чайник и вазочку с печеньем, комитетчик приблизился к Саше.

– Есть в посольстве Ирана один интересный человечек. Аббас Макки, первый секретарь. После прихода к власти Хомейни, исламисты сменили все посольство, но разведчиков – а мы полагаем, Макки разведчик, – у них хватило ума не трогать, берегут кадры.

– Я с ним знаком. Сам однажды подошел ко мне на приеме. Симпатичный.

– Не сомневаюсь. Где вы видели несимпатичных разведчиков? Один Зорге чего стоит! А Кузнецов, а Абель? Значит, говорите, он сам подходил к вам на приеме? Очень хорошо, теперь вы к нему подойдете.

– Что я должен делать? «Говори же, блин, скорей, – изнывал Саша. – Затрахал».

– А ничего. Никто не собирается посылать вас на риск. Пообщайтесь с Аббасом на вашем прекрасном персидском. Сыграйте с ним в теннис – он, кажется, тоже фанат, проведите вместе время – вот и все. Главное, быть абсолютно естественным – у вас мама артистка, у вас получится. Раз уж он первым к вам подошел, ответьте чувством на чувство. Шутка... Потом расскажете о своих впечатлениях мне и на этом – все, вашей исторической миссии конец. Вы поняли меня?.. Для связи вот вам телефон «Альберта»... – Альберт положил перед Александром клочок бумаги с номером. – Запомнили? – Саша кивнул, и Альберт снова упрятал листок в карман, задвинув его на молнию. – Минуту, а кто же вы у нас будете? Давайте придумаем вам фамилию, любую, которая на слуху, известного спортсмена, артиста, писателя – выбирайте сами.

– Зачем? Для одного раза? «Еще один идиотский вопрос», – подумал Саша.

– Так принято, Александр Григорьевич. Чтобы я сразу понял и не спутал, что звоните вы, – вы у меня не один; и вам так удобней будет, не надо, чтобы все вокруг мочалили вашу фамилию и знали о нашем контакте.

– Я понял, – кивнул Сташевский. «Поздравляю, Сашок, – мрачно подумал он. – У тебя начинается двойная жизнь».

– Ну, придумали?

– Пусть будет Шестернев, – сказал Сташевский. – Защитник из ЦСКА.

– Кто ж не знает Альберта Шестернева?! Шестеренка – это сила! Я, кстати, тоже болею за армейцев. Очень удачный выбор. Я – Альберт, вы – Шестернев. Отлично! – он подал Саше руку. – Спасибо, что пришли. Не провожаю. Надеюсь, сами сообразите, как отсюда выбраться. О, стоп, стоп! Мы забыли самую главную мелочь, «мелочную главность», как выражается мой шеф. Вы будете проводить с Макки время, сыграете с ним в теннис, возможно, вам придется зайти в кафе, выпить самим, угостить девушек и тэ дэ – вам понадобятся деньги. Ну да, конечно! Много я вам не дам, не надейтесь, но так, что называется, на мелкие расходы... – из симметричного кармана на молнии он извлек деньги и бумажку, похожую на ведомость по зарплате. – Вот, пятьдесят рублей. И вот здесь, пожалуйста, распишитесь.

«За пятьдесят сребреников продаешься, внучок?» – услышал Сташевский голос в себе и отпрянул от ведомости.

– Не буду я нигде расписываться. Не нужны мне деньги, – быстро сказал он.

– Александр Григорьевич, поверьте, это простая формальность, не подставляйте меня – я обязан отчитаться перед начальством. Ну, хорошо, будем считать, это ваш гонорар за написанную для Комитета статью – мы ведь могли вам статью заказать по проблемам советско-иранских отношений, разве не так?

– Так, – сказал Саша. Он вдруг обессилел и увял, ему хотелось только одного: поскорее вырваться из объятий этого липучего, словно клей, человека на волю и свет. Он подписал ведомость, и в его руки перешли комитетские деньги. «На них кровь!» – вскричал в нем голос деда.

– Абсолютно чистые деньги, – заверил Альберт. – Только вчера из банка.

Сташевский поднялся; он жал упругую, теплую руку, смотрел Альберту в светло-голубые глаза и очень быстро соображал. «Все ложь. Не нужен им никакой Макки, с ним и так все ясно. Им нужен я, раз и навсегда, с потрохами, мозгами, руками и ногами, которые, по их желанию, могут быть пущены в ход». Он ступил в коридор, крашенная белая боковая дверь туалета оказалась у него по левую руку, и вдруг шалая мысль влетела ему в голову.

– Я зайду, на дорожку? – обернувшись к Альберту, спросил он, уверенный в том, что ему не разрешат, заведомо ликующий от того, что тем самым выдадут себя, потому что в ванной комнате второй час потеет тот самый упырь с наушниками.

– Пожалуйста, конечно, – ответил Альберт. Саша толкнул белую дверь, узрел умывальник, душ, унитаз и более, к своему изумлению, никого и ничего. Быстро закрылся изнутри, пустил для проформы воду и попытался осмыслить момент. «Значит, не все ложь? – подумал он. – Может, ему можно верить? Может – и правда, все ограничится разовым заданием, и отлипнут? И никакой не будет серной кислоты?»

6

Вывалился из гостиницы, хватил полной грудью воздуха и удивился счастьем обычного свободного вдоха.

Погода разгулялась, сделалась превосходной. Не жаркой, не холодной, но с приятным шевелящим ветерком, тем самым, что лишает человека телесной тяжести и способствует размышлению.

Не шел, летел в обратный свободный путь по Горького, снизу вверх, от Охотного к Пушкинской и Маяковке; задевал прохожих, извинялся, но видел перед собой недалеко и плохо. Поток летних нарядных людей накатывался на него сверху; они казались ему чистыми и светлыми, на него же, казалось ему, все, как один, смотрят с осуждением и презрением как на последнего подлеца. «Зачем я дал согласие? Зачем расписался и принял деньги – от кого?! Могу их выбросить, но что это изменит? Меня заставили? Никто меня не заставлял. Тогда почему я не встал и резко не отказался? Не понимаю, сам себя не понимаю. Перестройка, демократия, свобода вокруг. Ну что гэбисты могли мне сделать? – спросил он себя и вдруг, вспомнив Костюкевича, сам же себе ответил: – Все... Все, что захотят... Я говно. Слабое, беспомощное и незащитное. Я понял, в ГБ ломается только говно. Прости меня, дед, я тебя предал».

Но в самой его глубине уже заваривались и просились быть услышанными другие мысли. «Ты понадобился – гордись, – пищали они. – Ты жаждал новизны и интересного дела – вот оно! Ты, мелкий писака, херов теннисист и пошлый любитель пива, понадобился стране и серьезным людям могучей системы. Тебя заметили, среди десятков безликих тысяч в толпе заметили именно тебя. Эти люди не шутят, задание, которое тебе поручили, ответственное, выполнишь его, оправдаешь доверие – тебя серьезно продвнут по жизни. В конце концов, ты не предатель, не стукач, ты выполняешь важное разведывательное задание, к тому же единичное». Когда он думал так, то на мгновения чувствовал себя не маломощным журналистом-одиночкой, но частью многосильного мотора. Саша гнал от себя эти мысли, идеалы деда, его ненавистное отношение к ГБ были в нем все-таки сильнее, но справедливости ради следует признать, что моментами мысли его менялись, словно подключались к разным полюсам. Взрослая, разумная его половина боялась и не хотела ГБ, половина, оставшаяся от детства, жаждала романтики и приключений.

На ходу он извлек на свет полученные деньги: две новенькие сиреневые двадцатипятирублевки с милым Ильичом в овале. Пятьдесят – ровно треть его месячной зарплаты, сто двадцать оклад плюс двадцать процентов за знание восточного языка. Любопытное, а может, не случайное совпадение. Сиреневые бумажки похрустывали в пальцах, жаждали применения и подтверждали реальность случившегося. «Как все просто, – удивился Саша. – Утром я ничтожный редактор. Теперь Шестернев, сотрудник разведки, платный агент КГБ. Пусть на время, пусть на единственный раз, но все-таки. Офигеть. Дед прав: в нашей солнечной стране нет ничего невозможного». Двадцатипятирублевки он запрятал в далекий отдельный карман, приказав себе пустить их в ход только на порученное дело.

Купив два блока «Явы», влетел в АПН, скачками одолел лестницу и, сдерживая дыхание, неслышно вдвинулся в свою редакционную комнату – никто из литсотрудников не обратил на него внимания, за исключением фотоподборщицы Наташки Кучиной, чей стол стоял рядом с его столом. «О, – сказала она с хищной улыбкой, – теперь покурим». Кивнув в знак согласия, он юркнул за свой стул и заправил в «Эрику» чистый лист бумаги – понятия не имел, что будет писать, но на автомате обозначил продолжение работы. Шеф Волков обернулся в его сторону. «Все в порядке?», – значительно спросил он, и Саша снова кивнул, интуитивно не прибегнув к голосу, ему казалось, что голос может выдать то, что с ним произошло. Ему казалось, он чувствовал, уверен был, что, узнай об этом сослуживцы, застыдили бы и отвернулись от него;

разведчиком наши люди считают только того, кто работает за рубежом на нелегалке и долгом залегании, им восхищаются, его славят как героя. Сашу же, пусть никого он не предал, ни на кого не наступал, сочтут не разведчиком, а сукой, вертухаем, шестеркой и гэбэшной крысой. «Хотя, попади они в его положение, – подумал Саша, – большинство повело бы себя так же, как он. Не большинство, – поправил он себя, все». Так ему было легче.

Вечером того же дня оказался за семейным столом.

Не хотел, отнекивался, что, мол, сильно занят, а все же пришлось усесться в опасной близости от родителей, по правую отцовскую руку.

Впрочем, родителей он не боялся. Многие лета, как и прочие сограждане, просуществовав в страхе, они выстрадали благополучную негромкую жизнь и, достигнув ее, окончательно утратили пыл любого возмущения – их устраивало всё и всегда, лишь бы их не трогали. Дух неприятия, протеста и священной ненависти остался лишь в деде; когда дед, как о самом большом своем желании, говорил о желании задушить хотя бы одного лагерного мента, Саша им восхищался. Не мент создавал систему, понимал Саша, но каждый мент был символом насилия, и в этом смысле деда можно было оправдать.

Состоялся обычный чай перед телевизором, в который, если не было футбола и новостей с любимым мамой Игорем Кирилловым, смотрели вполглаза и обсуждали домашнее, свое. Что сломался замок на почтовом ящике в подъезде, что в понедельник снова на месяц отключат горячую воду и хорошо бы всем успеть помыться, что отцу скоро предстоит киноэкспедиция на Памир – очень интересная, но черт знает какая трудная, потому что там снега, холод, голодные барсы, дикие люди в халатах и совершенно непонятно, чем кормить съёмочную группу. Беседа текла мягко, мирно, шутливо, родственно, с одним малозаметным нюансом: говорили все больше отец и мама. Саша потягивал чай молча. «Сказать или не сказать?» – мучил его главный вопрос. Он посматривал то на обаятельного отца, то на любимую маму и думал о том, что отцу бы он, пожалуй, доверился и рассказал, а маме бы не стал – зачем ее напрягать, у нее и так нервы. «Что у тебя, сын? – спросил его отец. – Какие новости?» «Никаких», – мгновенно среагировал Саша и понял, что, соврав, навсегда отодвинул себя от родителей. Подумал, что врать своим глупо, даже гнусно, но сделать с собою ничего не смог. «Не смог, и все тут, – сказал он себе, – и нечего тут обсуждать. Есть тайны, которые не доверяют даже самым любимым и близким. Есть тайны, справляться с которыми мужчина обязан в одиночку. Живи с тайной, и твоя жизнь, твой внутренний мир сделаются много богаче».

7

В том, что касалось его отношений со Светкой Алдошиной, Альберт и «контора» были правы: Саша относился к Светлане очень бережно и серьезно, два года постоянства для парня в двадцать семь кое-что значили. Особенно для такого парня, как он, – легкого, остроумного, с полюборота влипающего с девушками в контакт и собою очень даже недурного. До встречи со Светкой он направо-налево параллелил, – как и многие его знакомые ребята, кто имел такую возможность, – не задумываясь, тусовался с любой, если она ему нравилась и быстро прыгала в койку, но встреча со Светкой многое в нем переменяла.

Или время такое Саше пришло.

Остепениться, охолонуть, подумать о семье, командировке в Иран и карьере вообще. Светлане было двадцать два, она заканчивала журфак, и, как стартовая площадка, для таких его перспектив очень даже подходила, но влетел он в нее совсем не по причине рациональных размышлений.

Они познакомились на «психодроме», когда Саша по старой памяти посетил родной институт, а Светка вышла во дворик перекурить. Имя Светлана очень ей шло; он сразу обратил внимание на ее чистый тонкий облик, светло-серые глаза, сдуваемую ветром челку и общую невесомость. «Девушка, вы очень красиво курите», – искренне сказал он. «Хотите сигарету?» – не менее искренне спросила она и, чуть пододвинувшись на скамейке, освободила для него место. Перекурив еще по одной, очень просто договорились о следующей встрече, и с этого все началось, естественно и просто, как естественно и просто все начинается у двух людей, долго искавших друг друга. Саша был счастлив. Светка любила поэзию, была надежной и верной. «Я не хочу, чтоб ты любил всех женщин, я хочу, чтоб ты любил только меня», – потребовала она взаимной верности, и он, не вдумавшись в серьезность такого запроса, все ей пообещал. И семья у нее оказалась что надо: отец какой-то далеко продвинутый физик, какой – Саша не вникал, и матушка тоже ничего, гостеприимная, пекла пончики и постоянно зазывала Сашу в гости, предпочитала, чтоб молодые люди общались по возможности у нее на глазах в обширной профессорской квартире с высоченными потолками. Саша приходил, глотал вкуснейшие пончики в сахарной пудре и старательно общался, но долгие, чинные чаепития с родителями быстро стали для молодых неважно; денно и ночью искали они возможность уединиться – жилились и койки у друзей, и съемные квартиры, денег на которые вечно не хватало, и турпоездки выходного дня, и даже спасавший летом лес.

Под высокий шум листвы и ветра, в зарослях на земле происходило главное священнодействие жизни. Природная тонкость, вкус и благородная сдержанность Светланы в обычной жизни в телесном соприкосновении с Сашей чудесным образом преображались в страстные, яркие, столь ценимые мужчинами порывы. Встроиться, влипнуть, впаяться в него и бурно, бездыханно умереть – такой была его Светлана. Ее беззаветная, без остатка самоотдача каждый раз потрясала Сашу, и молодости было этого достаточно; он, уже опытный в амурных забавах боец, теперь не представлял себе жизни без Светки. Прочие девчонки с их ахами, визгами и укусами казались ему фальшивым примитивом и были забыты, все прежнее разнообразие розовых цветников заменила ему новая любовь. Правда, порой он жутко, до ссоры схватывался, спорил с ней по принципиальным вопросам политики, искусства или жизни, но ему в ней нравилось даже это – как она спорит, какой непреклонной и твердой остается в своих убеждениях. Женитьба на Светлане была желанна, неизбежна и безоговорочна, и, по сути, они уже были женаты; отсрочка официальной церемонии объяснялась только тем, что еще достраивалась их кооперативная квартира, купленная вскладчину на то, что они откладывали в течение двух лет: он – свою зарплату, она – стипендию. Каждый из них еще жил с родителями, потому и стало возможным такое разумное накопление, да и родители, слегка напрягшись, подбросили

им на первый взнос. Молодым нравилось приезжать на шумную стройку семнадцатизэтажного панельного дома, месяц за месяцем росли голубые этажи и вместе с ними росло их обещающее счастье будущее.

«Что и как ты теперь ей расскажешь, другу и невесте, от которой не было у тебя секретов?» – спрашивал себя Александр и понимал, что не скажет ничего, рта не раскроет и что, большое спасибо рыцарям щита и меча, теперь у него и от Светланы появилась тайна. Он будет молчать и, значит, невольно и подло ее обманывать. стыдно, конечно, непорядочно, гнусно, но что поделаешь, так уж получилось.

Самой опасной оказалась для него встреча с дедом. Дед Илья одиноко жил за городом – бабушка три года как умерла; жил в дощатой дачке под любимым разлапистым дубом, с любимой дворняжкой Жулькой и любимой, сложенной своими руками дровяной печкой; в Москву приезжал нечасто, все больше в поликлинику по своим астматическим делам. Знавшему заранее о его приезде Саше, казалось, было не сложно избежать с ним встречи, но, словно преступника на место преступления, его безотчетно потянуло к деду. В его глазах он должен был увидеть нового себя. Увидеть и испугаться. Покаяться, все объяснить и выпросить прощение – дед должен был его понять.

Илья заявился в субботу, когда родителей не было; привез «дочке Зое и внуку Сашке» сушеные белые грибы, погладил обожавшего его черного пуделя Патрика и громко потребовал чаю. Саша поспешно, даже суетливо кинулся просьбу деда исполнять. Усевшись на кухне, стар и млад завязали теплый и ничемный разговор о простой бытовой жизни, какой обычно происходит между стариком и отдаленным от него на целую вечность внуком. О дождях, грибах, здоровье и прочей ерунде. «У меня все тихо, – говорил дед, – мне спешить некуда, а как у тебя?» «Все нормально, дед, – стараясь не прятать взгляд, отвечал Саша, – работаем». Темные жилистые руки деда, знавшие миску с баландой и топор лесоповала, бережно сжимали кружку с чаем, его глаза, уже подернутые по краю ободком смертной непрозрачности, зрачками своими смотрели на Сашу прицельно и зорко. «Сейчас увидит, обязательно заметит», – содрогнулся от предчувствия Саша, но в тот же миг ощутил, что глубинным его желанием было именно это: чтобы дед действительно его разоблачил. Желание казалось странным, но оно – Саша это знал – принесло бы ему облегчение; сам он никогда ничего деду не расскажет, но распятый его прямыми вопросами, признался бы в охотку, даже с радостью и попросил бы совета. Дед опустил на стол кружку, тронул редкий седой ежик на голове, улыбнулся и очень обыденно сказал: «Сам вижу, что все у тебя нормально. Вижу, что посолиднел, округлился и, слава богу, молодец, а то все мальчишкой бегал».

Дедовы слова немного обрадовали, но больше разочаровали Сашу. «Люди ни черта не чувствуют других, – подумал он. – Говорят, пишут об этом много, хотели бы, чтобы так было, но... все потуги на сверхтонкое чувствование, все эти ясновидящие и экстрасенсы – чушь и говно. Чувствовать себя и отвечать за себя можешь только ты сам, ты один. Уж если мой дед, впрочем, на что он теперь годится с его-то наивностью?»

Мгновенно воскрес в памяти лагерный эпизод, рассказанный внуку самим дедом. При аресте бабушка успела сунуть в котомку пять его любимых тонкого шелка рубашек, в которых он выступал на эстраде. Но в лагере оказалось не до рубашек и шелка, в лагере, да во время войны были холод и голод лютый; в здоровенном мужике Илье очень скоро осталось сорок три килограмма веса и совсем не осталось сил – ни на лесоповал, ни на то, чтобы просто таскать ноги. И когда уголовник Копыто, прозванный так за то, что ниже колена вместо ноги имел деревянную культышку, предложил ему обменять рубашки на буханку хлеба, дед с радостью согласился. «Жди, – сказал Копыто, забирая рубашки, – после отбоя притараню тебе шамку». Дед ждал, мечтал и глотал слюну, но Копыто не появился ни после отбоя, ни завтра, ни неделю спустя. Потерявший терпение дед выглядел его возле уголовного барака и спросил: «Что случилось, Копыто, где мои рубашки, где хлеб?» «Какие еще, на х... рубашки, какой, на

х... хлеб?» – переспросил Копыто и так двинул слабосильного человека култышкой в грудь, что тот рухнул на землю и отключился. Но на этом история не кончилась; через год к деду снова приковылял Копыто; он был худ, сер и так изможден, что дед его не сразу узнал. «Помираю я, Андреич, – сказал он и заплакал, – тубик меня дожирает. Ты прости, Христа ради, за те рубашки, за тот хлеб – сам я его по-тихому схавал. Прости меня перед смертью, Андреич». Сказал и упал перед дедом на колени, а дед со всей его долбаной доверчивостью стоял над ним как столб и от слез быстро-быстро моргал...

– Еще чаю, дедуль? Я свежего заварю.

– Не надо. Включи-ка мне телик. Там сегодня «Спартак».

«Вот и все, – сказал себе Сташевский, – испытание дедом ты прошел. Молчи, и никто тебя не вычислит, молчи, живи как прежде, и все будет нормально».

Вскоре, однако, оказалось, что молчание и недоговор не есть единственные неудобства его нового существования.

Он и Светка отправились в «Современник» на розовские «Вечно живые» (билеты были в жутком дефиците, спасибо Светкиному отцу, достал по академической брони). Замечательные места – блатная середина, четвертый ряд, прекрасные артисты, публика, вовлеченная в общее сопереживание, едва дышавшая от восторга Светка, и один-единственный он, Саша Сташевский, никак не мог сосредоточиться на спектакле. Едва артисты вышли на сцену, как он темечком почувствовал чей-то вкручивавшийся в него взгляд. Обернулся; сотни глаз заворожено, не мигая, глядели мимо него на сцену, но один-единственный взгляд – с балкона ли, из глубины партера, ложи или из-за кулис – неотрывно следовал за каждым его поворотом. Или так ему только казалось? Он снова обратился к спектаклю, но снова ощутил на затылке горячую точку. «Пытка, блин, – подумал он, – проверка? Или я элементарно схожу с ума? Тогда совсем клево». «Что с тобой? – спросила Светка. – Почему ты вертишься?» В антракте он рассеянно сопровождал ее по фойе, слушал ее восторги по поводу пронзительной правды и полного отсутствия на сцене «совковости», вертел головой, вкруговую обшаривая пространство, и понимал, что отныне так будет всегда: слезка или, что не менее мучительно, призрак кажущейся слезки. «С другой стороны, – мрачно соображал он, – теперь, Сашок, ты никогда и нигде не будешь одинок, ты всегда будешь ощущать локоть и поддержку заинтересованных в тебе лучших, мать их кренделем, людей отечества». «Тебе не понравился спектакль, Саня?» – уже на улице, на выходе из театра спросила его Светлана. «Понравился, очень, классный спектакль», – отозвался он. «Нет, не понравился, дорогой, я вижу, тебе не удастся меня обмануть», – заключила она. Он видел ее чистые глаза, пушок на скулах и чуть втянутые щеки а ля Марлен Дитрих, от которых тащился, и повторял про себя, что она чудо и что, по большому счету, в жизни он никогда ее не обманет.

Он отмечал в себе изменения, которые пока не очень беспокоили, но все же доставляли неудобства. Он стал суше в общении и строже к собственной речи, он контролировал свои остроты и шутки. Когда в раздолбанной журналистской компании заходила речь о вождях, политике и ГБ, он чувствовал в себе напряг и старался как можно быстрее перевести разговор на другую тему. Собственной вины за дела ГБ он пока не чувствовал, но какую-то свою к ней причастность, как ни странно, уже ощущал.

Лето между тем летело во времени и попутно изводило город жарой, душило пылью, поливало дождями и вдохновляло народ лозунгами перестройки, лету, планете и космосу вокруг было совершенно наплевать на Сашины терзания, но самого Сашу они не оставляли в покое. Черт с ними, в конце концов, решил Сташевский, он выполнит для ГБ то, что обещал. Но, спрашивается, по какому такому закону одни обыкновенные люди в кабинетах присвоили себе право распоряжаться временем и судьбами других обыкновенных людей? И что это за могучая организация, которой для достижения успеха необходима помощь таких рядовых неумех, как он?

Труднее всего, особенно в минуты опустошающей близости, ему приходилось со Светкой; однажды он схватил себя за язык лишь в самый последний момент. «Я вижу, ты что-то хочешь мне сказать, – прошептала она, опасно приблизив свои серые глаза к его глазам. – Говори». «Я тебя очень люблю», – нашелся он с ответом, годившимся на любые случаи жизни, и она, счастливая, им умиротворилась. Проще было с родителями. Матери, получившей интересную роль в театре, и отцу, завершавшему работу над новой картиной, страдавшему от пьянства осветителей и капризов очередного гениального режиссера, было не до взрослого сына; сыну привыкли доверять и не донимали расспросами. Удивляло Сашу другое. За прошедшие три недели Альберт не звонил, не объявлялся ни разу, и каждый новый день его необъявления все более добавлял Сташевскому сомнений. Дошло до того, что встреча в гостинице «Москва» стала казаться придуманной, нереальной, не случавшейся; однажды он прямо себя спросил: была ли она вообще? И можно было бы ответить, что не была, если бы ни сиреневые купюры с Ильичом, хрустевшие в кармане, и ни накрепко врубленный в память телефон Альберта. «Но где он сам? Отстранили, уволили, услали, а может, он, вообще, того и более не дышит?.. А что, в ГБ, наверное, всякое бывает». Саша собрался было позвонить Альберту сам, но вовремя и разумно себя остановил: «Зачем? Что я ему скажу? Что соскучился? Может, про меня вообще забыли?» – подумал он как-то в слабой надежде на то, что такое возможно, и вместо ответа, что называется, криво усмехнулся. Незримые глаза глядели на него отовсюду брали в кольцо и напоминали о договоренности, незримые глаза приказывали ждать.

8

Альберт позвонил сам в разгар рабочего дня и, как обычно, не вовремя – Саша был занят правкой очередной бездарной, но важной для Волкова статьи какого-то начальника.

– Не забыли? Скучаете? Рветесь в бой, Александр Григорьевич? – спросил Альберт. – Знаю, знаю, что рветесь. Завтра в Доме дружбы прием, посол Катара гуляет. Приглашение для вас оставлено у администратора. Очень советую пойти, там будет тот, по кому вы неровно дышите.

– Да, да, – неуклюже ответил Саша, – конечно, спасибо.

Положив трубку, он почувствовал, как от вспыхнувшего волнения загорелись щеки, и обвел комнату взглядом – не заметил ли кто? А еще вспомнил, что завтра должен был пойти со Светкой в Дом литераторов на вечер Ахматовой. Вот так, растерялся он, ГБ начинает вмешиваться в жизнь, а как он может комитету отказать? Никак! Придется для Светки что-то придумывать, отговариваться – короче, врать. «Ладно, разок схимичим, – решил он, – противно, но не смертельно». Тотчас, с легкостью необыкновенной, ему придумалась вполне уважительная причина, в которую невозможно было не поверить; перезвонив Светлане, он расстроенным голосом сообщил: «Свет, „Ахматовой“ не будет; мне позвонили и напомнили, что завтра в школе вечер встречи выпускников». Светлана обиделась, сказала, что пойдет в ЦДЛ одна, и он на это согласился, потому что был уверен: без него она никуда не пойдет.

С утра надел лучшую рубашку, галстук, уже опробованные ботинки и лучший и единственный свой костюм, который он не любил. Но не идти же на прием в джинсе и куртке? На любопытствующий мамин вопрос ответил вчерашней версией Светке, и мама, критически оценив его внешность, заменила галстук и поцеловала сына, свою гордость. Отбиваясь этой же версией от вопросов сослуживцев, он успешно просуществовал до вечера на работе, вышел из агентства, как положено, в шесть, чтобы не спеша, к семи добраться до Дома дружбы, что располагался в старинном дворце напротив метро «Арбатская». Метро презрел; от агентства до Калининского доехал по Садовой на «Б», по Калининскому двинул пешком. Проспект был заполнен людьми, он решил, что так легче остаться незамеченным, и шел среди веселых, гуляющих без дела и шумно горожан, мимо витрин больших магазинов, мамочек со скрипучими колясками и книжных киосков, шел, поглядывая вперед и до дрожи боясь встретить Светку, – откуда бы ей здесь, кажется, взяться, а вдруг, по непредсказуемой глупости жизни, возьмется и возникнет, вдруг?! Шагал, размышляя об Аббасе Макки, слегка по этому поводу мандражировал и думал о том, что вот она, блин, двойная жизнь агента, на хрен он в это дело влез!

Приглашение на прием получил сразу, едва назвал фамилию на входе, даже без документа. «Ведут меня, соколики, ведут, – подумал он, – отслеживают каждый шаг», – и ступил в зал.

Он уже знал, какое скучное для непосвященных это занятие – прием. Фланирование официантов с подносами халявной выпивки – единственная общая радость.

Толчея, шумок разговоров и шуток, блеск бриллиантов и мехов на послыхах, улыбки господ и товарищей, знакомства, рукопожатия холеных рук, поцелуи, взаимные, по большей части фальшивые, комплименты, переход с бокалом в руке от одной компании гостей к другой и третьей – обычное людское роение, бессмысленное внешне, но исполненное глубокого, иногда решающего смысла.

Он заметил Макки, беседующего с французом, но предпочел сразу к нему не подходить. Исподволь разглядывал его с дистанции, смуглого, черноволосого, белозубого, элегантного перса, истинного индоевропейца, носителя древних генов, потомка великих царей Кира и Дария. «Лет на семь-восемь меня постарше, – отмечал Саша, – глаз и речь быстрые, что говорит о сообразительности и скорости мышления. Как вести себя с ним? Как естественным

образом завязать общение? О чем говорить? Что выспрашивать? На что рассчитывает рабоче-крестьянский простоватый Альберт в поединке с мудростью веков? Он рассчитывает на меня, Сашу Сташевского, – подумал он, – на мои свежие мозги, знания и талант, но смогу ли я, потянули нагрузку, если учесть, что Макки еще и разведчик?» Задача показалась Сташевскому интересной и вполне себе творческой; как каждая творческая задача, она его увлекла, но то, что он сотворил далее, удивило даже его самого. Какая, из какого воздуха взявшаяся фантазия подсказала ему столь гениальную импровизацию и первый ход, он и сам не знал, но уже в следующий момент припал на правую ногу и, изрядно захромав на левую, шагнул к Макки.

– Приветствую вас, господин Макки! – на чистом фарси обратился он к дипломату.

– Салам, господин Сташевский! – профессионально обрадовался Макки. – Как вы себя чувствуете?

«Как вы себя чувствуете?» – чистая проформа вежливости у персов, автоматическая часть приветствия, не более, обращать на нее внимание не следует, знал Саша, следует, в свою очередь, аналогично собеседника переспросить.

– Неплохо, господин Макки. Как себя чувствуете вы?

Далее, по законам классического иранского политеса, следовало неторопливо поинтересоваться, как себя чувствуют жена, потом сын, дочь, родственники и т. д. Саша это знал, но делать этого не стал. Развернувшись в сторону проходящего официанта, снял с подноса бокал с красным вином, не забыв при развороте нарочито-естественно хромануть на «больную» ногу. «Спроси же меня, спроси, что с ногой! – заклинал про себя иранца Сташевский. – Как наблюдательный воспитанный человек ты просто обязан меня об этом спросить! Тем более что я действительно ее натер долбаными ботинками».

– Давно вас не видел, господин Сташевский, – сказал Макки.

– Проблема в том, что я вас тоже не видел довольно давно, – сказал Саша.

Оба засмеялись.

«Хитрый черт, – подумал Саша. – Обходительный, но хитрый. Не спрашивает».

– Что с ногой, господин Сташевский? – неожиданно спросил Макки. – Я помню, вы не хромали.

«Клюнул! – возликовал про себя Саша. – Подставил губу под крючок!»

– Большой теннис, – вслух вздохнул он. – Я жертва любимой игры.

– Вы играете в теннис?

«Не так уж он хитер, – подумал Сташевский. – Классно я вывел его на тему. Теперь он должен предложить мне сыграть».

– Я фанат, – сказал он. – Играю трижды в неделю, но зверское желание ударить ракеткой по мячу испытываю постоянно.

– Господин Сташевский, послушайте, я думаю, повезло и вам, и мне. Я тоже обожаю теннис, я страдаю от отсутствия партнера; в нашем посольстве теперь одни муллы, которые играют в другие игры. Вот я спрашиваю: почему бы нам – когда пройдет ваша нога – не сгонять пару сетов? Или вы боитесь шайтана КГБ?

– Конечно, боюсь. Поэтому и думаю: почему бы не сгонять?

Оба снова засмеялись.

«Кто придумал, что Восток – дело тонкое?», – подумал Саша.

«Хромает то на правую, то на левую ногу, – подумал Макки. – Так не бывает».

9

Сошлись на корте стадиона в Лужниках, в Теннисном городке.

Макки играл неплохо, но гораздо хуже Саши, чья баскетбольная хватка, стрелковая меткость и прочие природные таланты распространялись и на теннис. Он опережал иранца по скорости и соображению, быстрее бегал и лучше предугадывал игру, точнее бил по мячу и сильнее подавал. Весь в белом, словно на кортах Уимблдона, черноволосый и смуглый Аббас, что было сил, старался ему противостоять, в восклицаниях своих то призывал в помощь аллаха, то проклинал шайтана, героически проигрывал, но, и это было заметно, получал от такого тенниса и такого сильного партнера истинное удовольствие.

И Саша был в восторге. Не потому, что побеждал Макки и выполнял задание Альберта, об этом, едва выйдя на корт, он позабыл – как обычно, едва замахнувшись ракеткой, забывал всю прочую, существовавшую вне тенниса проблемную жизнь. А потому, что упруг был корт, прекрасен день, чисто небо и свеж ветерок, поднимавший моментами легкую бодрящую поземку с песчаного покрытия площадки. Потому что сочно била по мячу его немецкая ракетка «Фелькль», купленная через знакомых у члена сборной Союза Константина Пугаева, потому что на соседних кортах играли и смеялись красивые веселые люди, для которых, как и для него, теннис означал молодость и отсутствие смерти.

Игра шла слишком для него успешно; кольнула мысль, что прибывать иранца всухую не стоит, что ради общего хорошего настроения следует слегка расслабиться и проиграть Аббасу пару-тройку геймов. Сделать это следовало тонко, чтобы иранец ничего не заметил; Саша раза три пробил в аут и в сетку, но тотчас был уличен. «Не надо меня жалеть, господин Сташевский! – прокричал с другой стороны корта Макки. – У вас это плохо получается!» «Он прав, – подумал Саша, – поддаваться надо уметь, я не умею».

За два часа под солнцем было сыграно три сета с одинаковым результатом, но дело было не в счете. Пело тело и распахивалась душа, как бывало с ним всегда, когда он побеждал. «Господин Сташевский, в нашей паре вы чемпион, – сказал Макки. – Но позвольте мне потренироваться и вас обыграть». «Я буду счастлив, если у вас это получится», – с долей великодушия поверх собственного тщеславия ответил Саша. «Кстати, как ваша нога?», – спросил Макки. «Как видите, – сказал Саша. – На корте никогда ничего не болит. Все проблемы начинаются „после“ или кончаются „до“».

Душ принимали в общей для всех посетителей Теннисного городка раздевалке; стояли под струями рядом, болтали на фарси, рассказывали анекдоты – Саша знал их множество. Аббас ему не уступал, оба хохотали в полном, послетеннисном расслаблении так заразительно, что прочие обитатели душевой, ни черта не понимавшие фарси, поневоле растягивали рты.

После духоподъемного душа расставаться сразу показалось неправильным обоим: Аббас предложил выпить чая, Саша, знакомый с иранской традицией, его поддержал. Чая, чая немедленно, ничего, кроме чая! Шмотки и ракетки бросили в зеленый Аббасов «Опель» и здесь же у стадиона, на набережной быстро отрыли кафе-стекляшку, где было жарко, как в иранской пустыне, где пустой чай им подали с некоторым пренебрежением, но все же подали. Аббас золоченым «Ронсоном» запалил «Мальборо», предложил угоститься Саше, который, после своей вечно сырой «Явы», отказываться категорически не стал, и беседа покатилась.

Понемногу открывались друг другу. Семья, родители, дети, холост, женат? У Аббаса, как у нормального иранского человека, оказалась жена по имени Парвин и уже трое детей: мальчик и две девочки; жил он в большом родительском доме на северной окраине Тегерана, в местечке Заргянде, что почти в горах, потому летом там не так невыносимо испепеляет солнце, как внизу, в самом городе. Саша, в свою очередь, рассказал иранцу о себе, работе, Светке, родителях, выложил ему почти все, исключив, понятно что.

Сам он слушал Макки с удовольствием, нравился ему его низкий, с легким скрипом голос, нравился язык, неторопливый, мелодичный, красивый, на девяносто пять процентов Саше понятный. Нравилась внешность перса: легкий аромат фирменного афтершейфа, сердоликовая печатка на пальце, некоторая небрежность в одежде и обаятельное, чуть примятое мужественное лицо. «Лицо мусульманина, со следами скрытых страстей, – романтично предположил Саша. – Что это? Карты, опиум, женщины? Все вместе сразу? Классно. Очень может быть». Макки был ему по душе.

«Враг, а такой клевый, – подумал Саша. – Хотя какой он мне враг? Режим фанатов-аятолл – да, враг, а этот Аббас, выучившийся еще при шахе да в Европе, – какой он мне враг? Нормальный интеллигентный малый. Меня попросили сыграть с ним в теннис – я сыграл и кое-что о нем вызнал. Не исключено, что заливаает, но это уж дело не мое. Разведчик? Ну и что, что он разведчик? Я для него не объект, чего у меня выведывать? К тому же у меня тоже... задание. Еще посмотрим, кто круче...» – самодовольный кураж обуял было Сашу, но тотчас был им и пресечен. «Что ты несешь? – остановил он себя. – Какое у тебя задание, какой ты, в жопу, разведчик? Одноразовое дерьмо, которое смоют без ущерба для унитаза. Так сказал бы дед и был бы прав».

Подозвав официантку, Аббас, несмотря на Сашины возражения, сам расплатился за чай. «Побежденный обязан платить контрибуцию», – сказал он и добавил, что отвезет Сашу домой. Александр вяло пытался возражать, но Аббас был настойчив. «Победителю – колесница», – сказал он, распахнул дверцу зеленого «Опеля», почтительно склонил перед Сашей голову, и Саша снова увидел перед собой потомка гиганта Дария, правителя Древней Персии.

Прощаясь, пожали, словно на корте, друг другу руки, договорились перейти на «ты» и созвониться.

– До свидания, потомок Дария, – сказал Саша.

– Будь здоров, Искандер, – сказал Аббас.

Саша знал, что на Востоке так зовут Александра Македонского. «Находчивый черт», – подумал он и с сумкой на плече вошел в подъезд. Пыльные с зимы лестничные окна были распахнуты и освободили пространство для прогляда; он успел заметить, как, разворачиваясь, «Опель» на мгновение замер, и породистая голова потомка Дария едва заметно подалась наружу – вероятно, для того, чтобы разглядеть номер дома; после чего машина укатила. «Разведчик, – подумал Саша. – Классный мужик. Пусть разведывает, не опасно, мне его даже жаль. Хрен с палкой – вот что он от меня поимеет, ничего другого у меня для него нет».

Дома никого не оказалось. Саша взглянул на часы, семи еще не было. Пудель дружелюбно фыркнул, замахал опухавшим хвостом и, рассчитывая на прогулку, нервно зевнул. «Сейчас, Патрик, сейчас», – отмахнулся Саша, пробираясь к телефону. Номер, мгновенно выскочив из памяти, переметнулся на кончики пальцев.

– Алло. Здравствуйте, Альберт. Это Шестернев, – сказал Саша. И стал быстро излагать события дня.

– Вы большой молодец, Шестернев, – перебил его Альберт. Все это надо записать, чтоб ни одна драгоценная деталь не пропала. Запишите. В форме отчета на страничку-полторы – для такого журналиста, как вы, это не труд, разовая, ни к чему не обязывающая радость. Сделаете и мне передадите. Ок? Вы меня поняли? Нас интересует ваше мнение о вашем партнере. Вы поняли меня?

– Понял, – ответил Саша, попрощался и тихо положил трубку. «Коготок увяз – всей птичке пропасть», – почему-то взметнулась в нем любимая бабушкина присказка. «Не к месту и не по делу», – подумал он, но прилипшая к сознанию, будто колючка репейника, присказка не собиралась забываться и трепала мозги. Скулеж Патрика добавлял нервов. Наконец, как потребность вздохнуть, захотелось немедленно со всем этим покончить. Сел к столу, изготовил к делу свой любимый шведский шарик «Баллограф», начал писать, но долго ничего не получа-

лось, комкал и мелко, и тщательно, будто замечая следы, рвал бумагу. Чувствовал, что делает не столько секретное, сколько какое-то постыдное дело, отвращала мысль, что эта писанина напоминает донос и что, если она попадет на глаза домашним, особенно деду, будет худо и позор. Чувствовал, а все же пытался писать. А не получалось потому, что никак не мог поймать нужный тон и нужную манеру изложения. Наконец, сдвинулось, пошло, разогнлось и далее вдохновенно – потому что увлекло – полетело; с ним так бывало всегда, когда в организме запускаясь химия творчества. «Отчет о встрече» – озаглавил он свою новеллу и начал так: «26 июня я встретился с Аббасом Макки у входа на стадион „Лужники“ со стороны Теннисного городка и спорткомплекса „Дружба“». Писал и думал: «Какую чушь терпит бумага, чем мы, люди двадцатого века, занимаемся?..»

10

Его следующий день сложился неудачно, хотя с утра ничто не предвещало такого прогноза.

С коротким перерывом на обед постоянно находился в редакции. Отчет лежал в левом внутреннем кармане пиджака; маленький ничтожный листок напоминал о себе и теребил сердце; дважды, улучив в редакции малолюдный момент, он звонил Альберту с уговором о встрече, со второго раза дозвонился, и оба решили, что повидаются не позднее семи в той же «Москве». Слегка успокоившись, он правил, механически что-то писал, общался в курилке с Толей Орлом и невольно присматривался к нему на предмет, постоянно волновавший в последнее время воображение; он присматривался ко всем коллегам вообще, но к другу Толику особенно пристрасно. Почему-то казалось ему, что Орел тоже оттуда, из той же конторы на горе, что и Альберт; почему он так решил, сказать было сложно, может, потому, что Анатолий был солиден, основателен и в высказываниях своих, точно ГБ, напористо навязывал свое мнение? Так или иначе, но в беседе с Орлом он с трудом подавил в себе желание залихватски Толе подмигнуть, во всем открыться и в знак цеховой солидарности пожать его мужественную руку – «мы вместе, Толян!» Слава богу, в последний момент он такое свое намерение похерил. «В чем вместе, идиот? – спросил он себя, и такого простого обиходного вопроса оказалось достаточно для самоотрезвления. – Толя – нормальный парень. Ты один попал в замаску, сиди и молчи».

Все бы было ничего, но в пять позвонила Светка и с радостью сообщила, что на семь ей предложили билеты в Дом кино на встречу с Джейн Фондой и классный американский фильм, где она играет. Что-то про загнанных лошадей, которых пристреливают, точное название он позабыл, потому что сразу понял, что для него это невозможно. Какая Джейн Фонда, какие лошади, какой Дом кино, когда в семь он должен быть в гостинице «Москва»? «Свет, не могу, – сказал он, – не успею, работы море, давай завтра». «Джейн Фонда не каждый день в Союз приезжает, – тотчас обиделась она. – Ты что, не можешь сделать перерыв, перенести работу на потом?» «Свет, не могу никак, тут срочное дело, прости». «Ладно, – неохотно согласилась она. – Работай, я извинюсь, отдам билеты и буду ждать тебя в скверике, ну, в вашем, что справа от входа в АПН. К половине восьмого ты хотя бы освободишься?» «Свет! – чуть не сорвался он на крик, – не надо меня ждать. Езжай домой, я сразу тебе позвоню». «Странно, – удивилась она. – Ты что, не хочешь, чтоб я тебя подождала? Ты что-то темнишь, Сашуля?» «Ничего я не темню, – заторопился он, – пожалуйста, если хочется, жди, просто я не знаю точно, во сколько освобожусь». «Освободишься, – сказала, словно распорядилась Светлана, – я буду ждать».

Он хорошо знал этот ее непререкаемый тон – начало отчуждения, непроницаемой и долгой обиды, а то и взрывного скандала – знал, смолчал и тут же озаботился решением возникшей задачи: как, незамеченным Светкой, успеть к семи в «Москву» и хотя бы к восьми вернуться обратно? «Черт бы побрал эту Джейн Фонду с ее лошадьми, – подумал он и тотчас поправился: – Что черт бы побрал контору с горы, которая прихватила его на самую малость, а уже мешает жить! И черт бы побрал его самого, который с этой конторой спутался».

Небольшой дворовый скверик, в котором она предполагала его дожидаться, располагался в пятидесяти метрах от входа в Агентство. Если она будет что-нибудь читать и отвлечется, то не заметит, как он, выйдя из здания и сгоняв в «Москву», как ни в чем не бывало, подгребет к ней снова где-нибудь к восьми, и все обойдется. Подойдет и скажет: «Привет, я освободился, куда двинем?» А если она читать не будет, если вообще ничем заниматься не станет, а будет сидеть на лавочке и с тупым терпением во взгляде смотреть на жерло входа-выхода АПН? Тогда ему не проскочить, тогда погар, облом и полная катастрофа, допускать которую он права не имеет. «Что делать? – спросил он себя и сам себе ответил, что следует срочно что-то предпринять. – Что?»

Самое простое: перезвонить Альберту, перенести встречу на завтра. Можно, да, но что-то подсказывало Саше, что делать так не следует – не солидно, не по-мужски, да еще из-за каких-то, хоть и на Джейн Фонду, билетов? Не из-за билетов, идиот, укоротил он себя, из-за любимой Светки, которую, в противном случае, ты обманешь. Ты готов ее обмануть? Ну, какой это обман, успокоил он себя, так, маленькая хитрость маленького Штирлица, казаки-разбойники, салочки, прятки, она ничего не узнает.

Подумал так, и ему показалось, что бумажка с отчетом, словно живая, пошевелилась в кармане. Что за хрень? Саша сунул руку в карман – бумажка как бумажка, волглая на ощупь, неодушевленная. Он понял, что так ему только показалось, хотя мог бы поклясться, что мгновением раньше непонятный толчок в кармане все-таки ощутил. «Возможно, бумага вполне себе оживает, как только превращается в донос, – предположил он и сразу представил себе над страной миллионы черных каркающих бумаг, закрывающих небо. – Слава богу, у меня только отчет», – сказал он себе, но тотчас сообразил, что ГБ, вероятно, устроено так, что любая адресованная ей бумага превращается в этот самый донос. Значит, он все-таки доносчик? Угрызения совести снова кинулись ему на плечи. Ему стало неприятно, и успокоил он себя только тем, что у него поручение разовое, потому его отчет уж никак не... то самое, что противно повторять.

«Без пятнадцати шесть», – отметил он, взглянув на свою «Сейку», и сразу хорошая идея пришла ему в голову. «Светка, – подумал он, – ты сейчас в Доме кино, ты сдаешь билеты, надо тебя опередить, надо выскользнуть из агентства прямо сейчас, пока ты не обосновалась в скверике и не заняла свой наблюдательный пункт!» Идея благоразумно требовала проверки – по коридору он быстро достиг торцевого окна, выходящего на тот самый сквер, и выглянул наружу: поздно! Светлана уже была там, располагалась на лавочке, ближайшей к входу; ни книги, ни журнала у нее в руках не было; был лишь взгляд, караулящий его, Сашу.

«Детский сад! Значит, никаких билетов в Дом кино она еще не выкупала, значит, только собиралась купить и не купила. Лапочка моя, Светка, ты еще предусмотрительней, чем я! Это замечательно и это хреново потому, что совершенно непонятно, что теперь делать мне!»

Без десяти шесть, подсказала ему «Сейка». Ситуация переродалась в злокачественную. Кураж последней минуты охватил Александра, риск мгновенно раскручивал мозги в нужную сторону. В шесть Агентство пустеет, все валят по домам; его единственный шанс, сообразил он, заключался в том, чтобы в общей толпе выходящих прошмыгнуть мимо Светки незамеченным. Но как это сделать? В одиночку не получится, кто-то должен его прикрыть, кто-то должен отвлечь Светку. Кто? «Орел! – осенило его, – Толя – друг, только он может спасти!» Прибрав на столе бумаги, Саша нарочито громко испросил у Волкова разрешения уйти на десять минут раньше и, получив его, рванул по коридору в индонезийскую редакцию, где Анатолий трудился над статьей о преимуществах плановой советской экономики.

Умница Орел понял задачу с полуслова, даже не спросил, что, куда и зачем. Степенный в разговорах, он оказался молниеносным в действиях. «Держи», – сказал он Сташевскому, протянув ему свою легкую куртку цвета хаки и такого же цвета парусиновую кепку. «Стоит ли, Толь?» – усомнился Саша. «Надевай, – распорядился Орел, – так надо», и Саша подумал – счастье иметь такого друга.

Его действительно трудно было различить в говорливой волне сотрудников, разом выплеснувшейся в начале седьмого из дверей-вертушек на Садовую. Согласно плану Орла, Саша взял круто влево и, оказавшись к Светлане спиной, сплавил себя на этой волне к Провиантским складам, в то время как сам Анатолий, повернув направо, ступил в сквер, под деревья и всей своей плотной громадой вырос перед Светланой. Они помнили друг друга еще с институтских, «психодромных» времен, потому Анатолий обратился к ней по-свойски, без церемоний: «Привет, журналюга! Сашка своего поджидает? Запрягли его глухо. Просил передать,

что будет через час». Светка с благодарностью кивнула, Орел неторопливо поспешил к троллейбусу, а Светка достала из сумочки книжку Рыбакова.

Ничего этого Саша Сташевский не видеть, не слышать не мог. По подземному, мрачно-душистому переходу он, свободный и легкий, спешно пересек Садовую, занырнул в метро на «Парке» и с одной потной пересадкой доехал до «Охотного ряда». Подходил к «Москве» вовремя, твердо рассчитывая через час вернуться к скверу у Агентства. «Отдам отчет и сразу назад», – думал он; но все получилось не так, как он предполагал своей неглупой головой.

11

Вошел в вестибюль и направился к лифтам; охрана в одинаковых пиджаках не обратила на него внимания, что сперва его приятно удивило, а потом несколько напрягло. «Предупредили, – сказал он себе. – Четко работают, соколики».

И дежурная по этажу, скользнув по нему равнодушным взглядом, снова уткнулась в «Советский экран», и молоденькая горничная с гудевшим над полосатой ковровой дорожкой пылесосом отвернулась от него вполне обыденно, будто сталкивалась с ним в этом коридоре трижды в день. «Они думают, я свой, – сообразил он. – Ошибаются, больше меня они здесь не увидят».

Едва он пристукнул костяшкой в дверь, как она распахнулась, будто за ней его давно с нетерпением поджидали. Альберт, без слов и звуков, жестом предложил ему войти. «Привет», – прозвучало от него уже в номере, следом, без промедления, на его лице нарисовалась неяркая улыбка и одновременно протянулась в сторону Саши рука с алчно открытой ладонью. Саша смекнул – сложенный вчетверо листок из-за пазухи был аккуратно спроважен комитетчику, который, удовлетворенно кивнув, предложил гостю присесть.

Пока он читал, Саша украдкой стрельнул глазом по «Сейке» – было четверть восьмого. «К восьми должен успеть», – подумал Саша.

– Спешите? – спросил вдруг Альберт.

– Да нет... – замешкал с ответом Сташевский, немало удивленный тем, как занятый чтением Альберт ухитрился его застукать. – Так...

– Не волнуйтесь, – сказал Альберт. – Она подождет.

Что-то невразумительное гугукнул в ответ Саша, еще раз шарахнутый тем, как, оказывается, прозрачна его личная жизнь.

Установилась тишина, в которой остро стучало его сердце. Саша тупо смотрел в пол. «Скорей бы уйти и забыть. Забыть все, с самого начала. Всю собственную глупость, идиотское мое согласие и вообще», – думал он.

– Чаю?.. – спросил Альберт, вскинув свой острый нос.

– Нет. Спасибо, – сказал Саша.

– А написали вы, Александр Григорьевич, здорово, – сказал Альберт. – И выводы ваши, в общем, совпадают с нашими. Макки – та еще птица; ничего, пусть делает свое дело, мы будем делать свое. Так что, не ошиблись мы в вас. Не ошиблись.

– Спасибо... Я могу идти?

– То есть как? Уже? Нет уж, вы посидите, посидите, Александр Григорьевич.

– Так задание разовое было. Я вроде все сделал.

– Выходит, мы друг друга, Александр Григорьевич, не совсем правильно поняли. Я объясню: задание разовое и называется «Аббас Макки». Добивайте его до конца – раз уж начали так удачно. Это и есть ваше разовое задание. Вы поняли?

«Коготок увяз...» – вспомнил Сташевский, и боль резанула его по пупку.

– Я не смогу... Понимаете, у меня со временем плохо. У меня работа, родители... Я вот вот женюсь!..

– Прекрасно. Нормальная семья, работа и настоящая женитьба – куда лучше? Очень солидная легенда для разведчика. Кстати, можете пригласить на свадьбу Аббаса, чтобы убедился, что все у вас настоящее...

– Да, но... нет, ...я не готов... Кстати, вот ваши деньги, не успел потратить... – Саша выложил на стол две купюры с Ильичом.

Альберт не обратил на деньги внимания.

– Жаль, очень жаль!.. – чуть поднял он голос. – Значит, все-таки мы в вас ошиблись. Не хотите – не надо, никто вас неволить не будет, времена не те.

– Понимаете, Альберт, я хотел бы объяснить...

– Не надо, я не девушка, словам не верю. Откажитесь. Если вы трусите, если вы не патриот – вы правы, лучше отказаться сразу.

– Я не трус!

– Вам так только кажется, на самом деле главная причина вашего отказа – страх. Случай типичный: мужчины у нас сперва хорохорятся, а потом, извините, пускают по ногам. Мы думали, вы прирожденный разведчик, бывают, знаете, такие герои, рождаются иногда. Ошиблись. Всего хорошего. До свидания. Бумажку свою заберите...

Протянутая Саше бумага с отчетом снова, как живая, вибрировала в воздухе.

Это был удар. Требовалось перевести дух.

«Возьми бумажку, скажи спасибо, скажи извините, скажи, что не хочешь, сваливай к Светке и все забудь, как и не было. Классно все обошлось», – подсказывал ему разум.

«Если ты не мудака, не пались, не ссорься с ними, лучше согласись; позже, не сейчас, ты их все равно перехитришь, переиграешь талантливо и тонко, ты сможешь», – продиктовало ему подсознание.

Разум или инстинкт – что-то из них должно было в нем победить; сам он в тот момент был никчем, безволен, пластилин, мягкая игрушка.

– Что я должен делать? – спросил, наконец, Саша и понял, какая сила в нем взяла верх.

Альберт размягчился, пластмассовая расческа, несколько раз развалив пробор, помогла ему справиться с позитивными эмоциями; он извлек из розовой папки и выложил перед Сташевским заранее заготовленный бланк.

– Вот тут, пожалуйста, распишитесь, Александр Григорьевич.

– Что это? – спросил Саша, хотя уже успел сфотографировать взглядом то, что ему предлагают подписать. – Нет, зачем это? Не надо.

– Пустая формальность, Александр Григорьевич, так начальство требует. Вот здесь, пожалуйста, после слов «...в добровольном порядке... оказывать услуги и сотрудничать...».

– Не буду я ничего подписывать, – твердо, как ему казалось, сказал Саша. – Нет.

– Александр Григорьевич, – очень спокойно сказал Альберт, протягивая ему ручку. – Еще одно слово – я выставлю вас отсюда раз и навсегда. Соску сосать. Только не пожалейте потом. Горько не пожалейте.

Саше стало тоскливо. «Поздно, – подумал он, – не выскочить, не избежать». Путь назад был накрепко завален камнями – его уже не было, оставался единственный путь в непонятное будущее. И Саша подписал бумагу.

Уже в следующую секунду, заметив, что подписанный бланк оказался рядом с еще теплыми, «его» двадцатипятирублевками, он счел такое соседство символичным, роковым для себя и совсем пал духом.

– Поздравляю вас, Александр Григорьевич, – сказал комитетчик и протянул Сташевскому руку, которая была некрепко пожата. – Это – прежде всего. А во-вторых, делать вам снова ничего особенного не придется. Общайтесь с Аббасом, играйте в теннис, обсуждайте любые темы – желательно политические, дискутируйте, спорьте, вызывайте его на откровенность. Просьба к вам одна: в следующий раз после тенниса поезжайте-ка вы с Макки в кафе «Метелица» – это на Калининском проспекте, наверняка знаете.

– Почему именно туда?

– Там для полноценного отдыха условия лучше.

– Но... у меня есть любимая девушка.

– Знаю. Любите на здоровье. Я с вами не о любви говорю, о нашей работе. Когда мы под видом супружеской пары посылаем на задание просто мужчину и просто женщину, им

приходится спать и жить друг с другом – знаете, почему? Потому что это работа. Работа во имя Родины – превыше всего. Вы поняли? Пожалуйста, подумайте об этом.

Сказал и взглянул на Сташевского, и вопросов насчет любви у того более не возникло, возник вопрос другой, естественный и легкий:

– Могу идти?

– Деньги все-таки возьмите. Теперь они обязательно вам пригодятся. Кстати, можете походить в наш спортклуб – могу оформить пропуск. Не удивляйтесь, не удивляйтесь... Несколько занятий боксом вам бы принесли пользу. Хук, апперкот, прямой в голову, двойка – это надо бы вам уметь.

– Зачем?

– Александр Григорьевич, жизнь кончается не завтра. А вдруг вам придется отправиться в Иран?

– Мне? В Иран?.. Хорошая шутка. Кто меня пошлет?

– Догадаться нетрудно.

Саша встал.

– Спасибо. Я подумаю...

– Всего хорошего. Не забывайте, пожалуйста, про отчеты – у вас они здорово получаются. Кратко, сильно, как у моего любимого Чехова, читать – удовольствие. Вы у нас еще писателем станете. Вы меня поняли?..

От «Москвы» до «Парка культуры» очень даже не близко. Саша решил идти пешком, ему требовалось самоистязание. Побаливала потертая нога, но сейчас такая боль была в кайф.

«Он прав во всем, – размышлял Саша. – Одни от страха от всего отказываются, другие, от страха же, идут на все... Ираном дразнит – так я ему и поверил. Я подмахнул бумагу, потому что я бздо, и мы оба это знаем – он понял, а я знаю. Что с этим делать, дед? Твой внук родился трусом – что с этим делать, дед?»

Добровольный агент Сташевский шел по московским улицам, не обращавшим на него никакого внимания. Ни одной тормознувшей подле него машины, ни одного крика «позор!», камня вдогонку, свиста или хотя бы указующего перста, ни единого осуждающего взгляда не встретил он на своем крестном пути.

«Всем наплевать на тебя, – думал Саша. – Это не проблема людей, это твоя проблема, Санек. Хуже всего, что ты не можешь никому о ней рассказать. В тебе образовалось второе дно, началась параллельная жизнь – сделай хотя бы так, чтобы она никогда не пересекалась с первой и никому не мешала. Живи в ней сам, хитри, петляй, совершай подвиги. Может, тебе, гнида, даже понравится так жить? А, гнида?»

Без четверти девять приблизился к Агентству; с ходу влетел на скверик, кинул взгляд налево, направо. Светки не было.

Поворот был ожидаемый, а все равно мучительный, тянущий, словно боль в животе.

«Двушки» всегда водились в кармане, он собирал их на случай непредвиденных звонков. Углядев ближайший автомат, алюминиевую будку со скрипучей, неплотно закрывающейся дверью, ступил в нее, сырую и пахучую, задвинул монету в прорезь, набрал номер, и повезло, сразу соединился. В мозгу мелькнуло молниеносное: «Что говорить?» Приготовился, кажется, ко всему – услышал совсем не то, на что рассчитывал. «Светлана уже спит и просила не будить, – громко ответила Полина Леопольдовна и перешла на быстрый шепот: – Все-все, Саша, пока, а то мне попадет». Повесив трубку, замер в будке, забыв, что надо бы ее покинуть. Простая мысль пришла ему в голову. «Из-за игр с ГБ ты потеряешь Светку, убудок, – сказал он себе. – Что для тебя важнее: ГБ или невеста?» Ответ был ясен, но вопрос повторялся снова и снова, и что с ним было делать, он не знал.

12

Она любила его.

В переводе с женского языка на общечеловеческий это означало, что поиски спутника жизни для нее завершены. Период острой в него влюбленности закончился для нее прочной уверенностью, что свое будущее она будет строить с ним; выйдет за него, сошьет гнездо в кооперативной квартире, нарожает детей и станет счастливой женщиной. Она так истово этого желала, что даже собственная журналистская карьера представлялась ей теперь делом второстепенным – ради счастья с Сашей она была готова ею пожертвовать.

Смотрела на него и уже видела в нем своего, их общего сына.

Ей нравилось в нем все. Крепкие руки, рост, походка, то, что он носит джинсы и куртки и презирает брюки и пальто; нравилось, как после затяжки он выпускает на волю дым вперемешку с хриплыми словами; нравилось его серое бешенство в спорах и безмерная нежность в любви, нравились его несмешные шутки и перепады настроения, нравилось даже то, что девчонки глазуют на него в метро. Нравилось, как он пишет, нравилась общая его талантливость, открытость, доверчивость и наивность, от последствий которой его частенько оберегала она, более практичное и близкое к земле существо, но более всего ей нравилось в нем то, что он никогда ей не врал.

До восьми она неотрывно читала – «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова увлекали и держали при себе.

В начале девятого заметила, что чуточку начало темнеть, и тогда она отложила книгу и подумала, что он заработался и что надо бы элементарно его поторопить.

Двухкопеечная монета у нее тоже нашлась, как разом нашелся для нее тот же самый телефон-автомат, в будку которого спустя почти час ступит Саша. Жизнь во многом есть трагедия несовпадений, скажете вы и будете совершенно неправы, потому что жизнь есть комедия совпадений нежелательных.

Она долго держала у уха трубку и дважды перезванивала – Сашин телефон не отвечал. «Все ясно, – простодушно подумала она, – сидит за машинкой, печатает какую-то лабуду про меня забыл». Оставив будку, она оказалась на асфальте во временной растерянности, но последовательность и настойчивость были в ней такие, что сбить ее с цели было невозможно.

Направилась к агентству, толкнула зашипевшую щетками по полу дверь-вертушку и очутилась в мраморном вестибюле, где на стене сверкали внутренние телефоны, охраняемые глазами вахтера. «Мне только позвонить», – сказала она. «Звоните, – отозвался вахтер, – только кому? Все уж почти ушли». Внутренний телефон редакции Светлане тоже не ответил. «Вам кого надо-то? – спросил вахтер. – Из какой редакции?» «Мне Сашу Сташевского. Из Ближнего и Среднего Востока». – «Так ушел он давно. Часа полтора, как утек. Я его видел». – «Вы путаете. Он уйти никак не мог. Вы его с кем-то путаете». – «Ничего я не путаю. Что, я Сашку Сташевского, что ли, не знаю! Он еще за агентство в баскетбол играет. Фитиль такой. Он?»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.